ИЛЛЮМИНАТОР

Библиотека журнала «Иностранная литература»

·81·

Шеймас Дин

Чтение в темноте



Seamus Deane

Reading in the Dark

Чтение в темноте

Шеймас Дин

Аннотация
Чтение в темноте
Часть первая
  Глава первая
    Лестница. Февраль 1945 г
    Пропаданья. Сентябрь 1945 г
    Эдди. Ноябрь 1947 г
    Несчастный случай. Июнь 1948 г
    Ноги. Сентябрь 1948 г
    Чтение в темноте. Октябрь 1948 г
    Дедушка. Декабрь 1948 г
    Револьвер. Январь 1949 г
  Глава вторая
    Огонь. Июль 1949 г
    Американские города. Сентябрь 1949 г
    Кровь. Октябрь 1949 г
    Вражда. Февраль 1950 г
    Форт. Июнь 1950 г
    Поле пропавших. Август 1950 г
    Грианан. Сентябрь 1950 г
    Рассказ Кэти. Октябрь 1950 г
Часть вторая

Глава третья
Крысы. Ноябрь 1950 г
Полоумный Джо. Август 1951 г
Математика. Ноябрь 1951 г
Сержант Берк. Май 1951 г
Стукач. Июнь 1951 г
Розы. Июнь 1951 г
Епископ. Август 1951 г
Дедушка. Октябрь 1952 г
На смертном одре. Ноябрь 1952 г
Ланди горит. Декабрь 1952 г
Папа. Февраль 1953 г
Глава четвертая
Мама. Май 1953 г
Половое воспитание. Сентябрь 1953 г
Кино. Ноябрь 1953 г
Призраки. Декабрь 1953 г
Самоуглубление. Март 1954 г
Публичный дом. Апрель 1954 г
Кэти. Май 1954 г
Часть третья
Глава пятая
Закон Божий. Сентябрь 1954 г
Вот и все?. Ноябрь 1954 г
Полоумный Джо. Январь 1955 г
По-ирландски. Октябрь 1955 г

Политическое воспитание. Ноябрь 1956 г
Сержант Берк. Декабрь 1957 г
Глава шестая
Люди в маленьких городках. Июнь 1958 г
Мама и Полоумный Джо. Октябрь 1958 г
Мама. Ноябрь 1958 г
Танцы. Декабрь 1958 г
Подарок на день рожденья. Май 1959 г
Мой отец. Июнь 1961 г
После. Июль 1971 г

Аннотация

«Чтение в темноте» — первый роман Ш. Дина. Во многом это автобиографическое сочинение. В центре сюжета жизнь семейства ирландских католиков, связанных судьбой с движением ИРА. В реальные действия убедительно вплетены ирландские сказания и мифы, исполненные поэзии. Роман сразу принес автору славу прозаика (Буке- ровский финалист 1996 г.).

Чтение в темноте

роман
перевод с английского Елены Суриц

Часть первая

Глава первая

Лестница
Февраль 1945 г

Внятная, четкая тишина стояла па лестнице. Лестница была короткая, всего четырнадцать ступенек, обитых линолеумом, на котором до блеклого воспоминанья стерся начальный узор. Одиннадцать ступенек тебя вели к загибу, и там собор и небо всегда висели в окне. Еще три поднимали тебя на площадку метра в два длиной.

— Не двигайся, — мама сказала с площадки. — Не подходи к окну.

Я был на десятой ступеньке, она — на площадке. Я мог до нее рукой дотянуться.

— Тут между нами есть что-то. Тень. Призрак. Не двигайся.

Я и не думал двигаться. Прирос к месту. Только призрака я никакого не видел.

— Кто-то тут есть. Несчастный кто-то. Спустился бы ты, сынок.

Я па ступеньку отступил.

— А ты как же?

— Постою подожду, он и уйдет.

— Как ты узнаешь?

— Почую.

— А вдруг не уйдет?

— Уходит всегда. Я скоро.

Я снизу смотрел на нее. Я очень ее тогда любил. Такая маленькая, встревоженная, но на самом деле она ничего не боялась.

— Ой, да я в два счета до тебя допрыгну.

— Нет-нет. Мало ли. Уж я-то ладно, а тебя боже упаси такое почуять.

— Подумаешь, ну почую. Пахнет, как мокрая тряпка, да?

Она засмеялась.

— Совсем не похоже. Ладно, хватит про это толковать, а то поверишь. Спускайся лучше.

Сам не свой, я спустился и сел у кухонной плиты: алая топка, свинцово-черная пыль. У нас в доме привидение! И еще среди бела дня! Я слушал, как она наверху ходит. Дом стянуло трепетом паутины. Куда ни двинься — впереди поддастся, сомкнётся сзади. Скоро мама спустилась, белая вся.

— Ну, видела?

— Да нет, ничего, ничего я не видела. У твоей мамы просто нервы расходились. Воображенье.

Больше ничего.

Она не успела слова прибавить, а я уже был у окна, но ничего там не оказалось. Я вглядывался в набухающую темноту. Слушал, как тикают часы в спальне, как ветер вздыхает в трубе, смотрел, как из-под моей руки вниз льется скучный лоск перил. За четыре ступеньки до кухонной двери я почуял, что сзади есть кто-то, оглянулся и увидел: темнота отступила от окна.

Мама у огня тихо плакала. Я вошел, сел на пол с ней рядом и глядел, глядел в эту алость, мечущуюся за решеткой плиты.

Пропаданья
Сентябрь 1945 г

Те, у кого глаза зеленые, посланы, оказывается, эльфами. Они тут временно, совсем ненадолго, высматривают, какое бы им похитить человеческое дитя. А как встретишь кого с одним глазом зеленым, одним карим — надо сразу перекреститься, потому что значит — его когда-то выкрали эльфы. Карий-то глаз и выдает, что это раньше был человек. И когда умрет, он попадет в те волшебные холмы, что за горами Донегола, а не на небо, не в чистилище, в лимбо иль во ад, как

мы все. Я с дрожью представлял себе эти места назначения, особенно когда в дом к кому-то шел священник соборовать умирающего. Чтоб тот не попал во ад.

Ад — это очень глубоко. Туда летишь, летишь, кувыркаясь в воздухе, пока тебя не засосет чернотой в огромный огненный вихрь, и ты тогда пропадешь навеки. Эйлис была у нас старшая. На два года старше Лайема. Лайем был второй, на два года старше меня. Потом шли погодки или с разницей по два года: Джерард, Эймон, Уна, Дейрдре. Эйлис с Лайемом меня взяли с собой в цирк шапито — смотреть знаменитого Бамбузелема, фокусника, который умел пропадать и делать так, чтобы пропадали разные вещи. Купол был такой высоты, что опорные столбы таяли в черноте за софитами. Из темноты, под одним из охваченных канатами столбов, я смотрел на высокие сапоги, цилиндр, парусящие у пояса штаны в серо-черную полоску и красный атласный фрак, и, вскидывая фалдами на аплодисменты, мистер Бамбузелем вспыхивал, как костер, а потом он опять надевал цилиндр и было так, будто вдруг его загасили. Он вытаскивал бусы, и карты, и кольца, и кроликов из ничего и у себя изо рта, из карманов, ушей. Когда все это по-исчезало,

он нам улыбнулся из-под огромных усов, вздул свое полосатое пузо, тронул цилиндр, вспыхнул фраком и пропал в дымной туче и грохоте, от которого нас подкинуло над скамьей. Но усы остались и криво смеялись высоко в пустоте, где был раньше он сам.

Все смеялись и хлопали. Потом усы тоже пропали. Все рассмеялись еще громче. Я украдкой глянул на Эйлис с Лайемом. Смеются. Но откуда они знают, как это получилось? Что мистер Бамбузелем не пострадал? Я вглядывался в темноту, слегка побаиваясь, что вот-вот всплывут над трапециями полосатое пузо и сапоги. Лайем засмеялся и обозвал меня идиотом. «Он же в люк ушел. Вон он где», — и он ткнул пальцем в платформу на колесиках, которую увозили двое, а за ними с цилиндром мистера Бамбузелема в руке брел сиротливый клоун и утирал слезы. Вокруг смеялись и хлопали, а меня мучили сомненья. Почему они нисколько не беспокоятся все?

Эдди
Ноябрь 1947 г

Зима была лютая в том году. Снег замел бомбоубежища. По ночам за лестничным окном поле

было белым оставленным раем, и присыпанный звездами ветер взбивал стекло, как черную открытую воду, и храпел на подоконнике лед, и призрак дежурил, пока мы спали.

Той зимой лопнул котел, и вода сзади проникла в топку. Взвился дым, прошелестело злое шипенье. Это была беда. Без воды, без тепла, почти без денег, а на носу Рождество. Папа призвал на помощь моих дядьев, маминых братьев. Пришли трое — Дэн, Том, Джон. Том процветал. Он был строительный подрядчик, нанимал людей на работу. С золотым зубом, кучерявый, в костюме. Дэн был щуплый, беззубый, и лицо у него сморщилось и опало. У Джона был смех курильщика, хриплый, нутряной. За работой они рассказывали разные истории, а я — на стуле коленками — сидел у стола, раскачивал стул взад-вперед и слушал. Были истории про картежников, пропойц, работяг, ханыг, выдающихся каменщиков, футболистов, боксеров, полицейских, священников, про привидения, заклятие духов, про политические убийства. Были важные события, к которым возвращались снова и снова, например та ночь большой перестрелки между ИРА и полицией, когда исчез дядя Эдди. Было это в апреле 1922-го. Эдди был папин брат.

Кто говорит — его потом через много лет видали в Чикаго. Кто говорит — в Мельбурне.

— Нет, — сказал Дэн, — он же в той перестрелке погиб, упал во взорвавшийся чан с виски, когда рухнула крыша.

Одно определенно — он не вернулся, но папа не хотел про это говорить. Дядья всё застревали на этой истории, ждали, наверно, что он ответит, поставит точку. А он молчал. Вставал, шел принести угля или поскорей переводил разговор на другое. Я огорчался. Лучше бы он вмешался, рассказал бы им все как было. Но папа и всегда больше молчал, а тут особенно.

Еще была история про нечистую силу, из-за которой у отца Брауна за одну ночь побелели черные волосы. Это когда он изгонял дух моряка. У моряка у этого жена загуляла с другим, когда он был в море. Вернулся он, а она не захотела с ним больше жить. И снял моряк комнату в доме напротив, и с утра до вечера все смотрел на свой бывший дом, почти не ходил за порог. И вот он умер. Через неделю разлучник насмерть расшибся: свалился с лестницы. Года не прошло — жену нашли мертвую в спальне с выражением ужаса на лице. Окна в доме заклинило, и на лестнице так воняло, что кишки выворачивало. Отец Бра-

ун был в той епархии заклинателем духов. Его вызвали, и он, говорят, четыре раза в дверь не мог пройти, хотя держал перед собой крест и кричал на латыни. Ну а когда уж вошел — началась страшная драка. Дом гремел, как жестянка. Священник одолел этого духа на лестнице, затоптал, как погасающий костер, и загнал в лестничное окно, прямо в стекло. А потом капнул на задвижку воском со свяченой свечки. И чтобы никто, он сказал, не трогал эту печать, и надо подновлять ее каждый месяц. И если кто, по ком плачет смерть, говорит, или грешник ужасный приблизится ночью к этому окну, то увидит расплющенное детское личико, все в огне и в муках. И будет этот ребенок рыдать и молить, чтоб его избавили от дьявола, который его заманил в ловушку. Но если кто дернет задвижку, мигом дьявол войдет в того человека и станет он бесноватым и погибнет на веки вечные.

Дьявола — его не проведешь.

Котел починили, и они ушли, и белая, огромная зима стелилась, как прежде, вокруг красной топки.

Несчастный случай
Июнь 1948 г

На другое лето я видел, как одного мальчика с Блучерской раздавил на заднем ходу грузовик Он ждал у заднего колеса, хотел на ходу запрыгнуть в кузов. Но вдруг водитель подал назад, и мальчика подмяло это колесо, и с угла стали кричать, подбежали. Но поздно. Он лежал в темноте под грузовиком, и высунулась рука, и кровь ползла во все стороны. Водителю стало дурно, и прибежала мать мальчика, и она смотрела, смотрела и вдруг осела на землю, когда люди встали строем, загораживая от нее эту жуть.

Я стоял на валу со стороны Минанского парка всего шагах в двадцати и сразу издалека увидел полицейскую машину, когда она показалась из казарм в конце улицы. Вышли двое полицейских, один скорчился, заглянул под грузовик. Распрямился, сдвинул фуражку на затылок, вытер об штаны руки. Его, наверно, тошнило. Его тоска дошла до меня по воздуху, как запах. У меня закружилась голова, я сел на валу. Грузовик опять будто накренился. У второго полицейского был в руке блокнот, и он стал обходить всех, кто стоял

тогда на углу. Ему показывали спину. Потом приехала «скорая помощь».

Месяцами я видел, как пятится грузовик и как вылезает рука подмятого Рори Ханнауэя. Кто-то мне сказал, что того полицейского вырвало за грузовиком. И опять у меня закружилась голова, и полицейского было жалко. Но это, наверно, зря, полицейских все ненавидели, нам велели держаться от них подальше, потому что они гады. И я помалкивал, особенно потому, что почти не жалел мать Рори и водителя грузовика, а ведь их-то я знал. Меньше года спустя, когда мы прятались в хлебах от полиции, пронюхавшей, что мы рубим дерево для костра в честь пятнадцатого августа, Успения, Дэнни Грин мне поведал в подробностях, как Рори Ханнауэя сбила полицейская машина и даже не остановилась. «Суки», — он сверкнул лезвием облепленного мокрой травой топора. Я стянул трелевую веревку на поясе и ничего не сказал; и смутное чувство предательства, которое я с самого начала испытывал, почему-то меня отпустило. И только тут я горько, по-настоящему пожалел мать Рори и водителя, который остался потом без работы. Желтые, зеленые хлеба свистели, когда внизу по дороге мчала полицейская машина. Уже в темноте мы приволокли наше

дерево, пугливыми ветками начисто выметая задворки.

Ноги
Сентябрь 1948 г

Клеенка свисала низко, я видел только ноги. Зато слышал шум и кое-что из разговора, хотя был так раздавлен, что почти ничего не понимал. К тому же скулил Дымок, наш колли. Каждый раз, как он передергивал шкурой, я становился глух к их словам и острей ощущал шум.

Дымок нашел меня под столом, когда комнату заполонили ноги, он пробрался среди них и прижался ко мне. Ему было тоже страшно. Уна. Моя младшая сестренка Уна. Она умрет, когда ее заберут в больницу. Я слушал топот санитаров, которые старались пронести ее по лестнице на носилках. Там узко, им придется высоко ее поднимать над перилами. Лоснящиеся санитарские ботинки ступили на середину комнаты, я увидел красные ручки носилок. Один их держал сложенные, стоймя, ручками вниз, и на черный блеск ботинка, на носок, точкой села алость, когда ручки коснулись пола. Стертый линолеум вспыхнул ответной алостью, и она, перевернутая, утонула

в нем. Утром Уна так горела, что, хоть потная и белая вся, напомнила мне такое же затонувшее пламя. Глаза метались, пылали болью, мука их выдавливала изнутри.

Это была новая болезнь. Мне нравились названия других: скарлатина, дифтерия, малярия; как итальянские футболисты, или певицы, или наездницы. У каждой болезни был собственный запах, у дифтерии особенно: пропитанные дезинфекцией простыни на двери спальни выдували едкую вонь на холодящем лодыжки лестничном сквозняке. В сменившей дифтерию свинке не было ничего страшного; оно и понятно: смешное названье, и лица у всех распухали, как после грандиозной драки. А это была новая болезнь. Менингит. Слово такое не сразу возьмешь губами. Колется и горчит. Я так и чувствую, его выговаривая, как расширяются, расширяются глаза Уны, делаются светлей, будто накачанные из ее мозга гелием. И будто лопнут вот-вот, если только не смогут выбросить эту гелиевую, чистую муку.

Они уже были на лестнице. Все ноги туда двинулись. Мамины братья тоже пришли. Я узнал коричневые ботинки дяди Мэньюса: набойки сбились, он загребал ногами. У Дэна с Томом были одинаковые сапоги, грубые, облепленные цемен-

том и грязью, оба пришли с Креггана, со стройки. У Дэна, правда, грязней, Том был десятник. Но все равно сапоги у обоих плохие. Дэн налег коленом на стул. Носки — в олифе. Наверно, выпачкался на лесах. Макал в олифу отвес. Он как-то меня попросил нашарить отвес в ведре, я нашарил и выудил, и олифа жирно стекала с плеча по черной руке и волнилась на запястье. Я сыпал, сыпал на олифу опилки, ввинчивал руку в раструб со светлыми отрубями, и они потемнели, и Дэн тогда мне велел отмывать руку.

Но больше я смотрел на мамины и папины ноги. Она была на низких, стоптанных каблуках, ноги всегда отекали, я даже отсюда видел, как края туфель врезались и под этим углом скрывались в лодыжках. Суета нагнеталась, мамины ноги исчезли в прихожей вслед за носилками, она захлебывалась слезами и кашлем, и папины башмаки переступали за ней, огромные, с обхватывающими задник шнурками. И все ушли, и стало в комнате пусто.

Дымок передернул шкурой и заскулил, когда я его оттолкнул. Было холодно, все двери настежь, и меркнул осенний день. Уна умрет в больнице. Пятилетняя, младше меня. Я пытался представить ее не здесь, в другом месте. Конечно, она попадет

на небо. Интересно, будет она по нас скучать? И что там делать, на небе, кроме как улыбаться? У нее была такая замечательная улыбка.

Все вернулись. Почти не разговаривали. Папа стоял у стола. От его спецовки пахло молом, веяло горизонтами, где превращаются в точку и скрываются корабли. Каждый день он уходил на работу, помощником электрика на британской морской базе, а для меня — уходил за бугор, как у нас говорили про тех, кто уезжал за границу, и каждый день, когда он возвращался, я радовался, что он передумал. Том заталкивал ватерпас в недра кармана американских рабочих штанов. На что теперь будет пялиться острый глазок? Сожмурится в деревяшке, отстав от кружка, где его законное место? И будет кружок зиять — большой и пустой. Дэн поднял упавший со стула плащ. Пальцы — в красных пятнах. Аллергия на гипс, а он каждый день возился с гипсом на стройке. Через месяц эти руки, сплошь в волдырях и язвах, останутся без работы. Но Уны давно уже не будет на свете.

Все ушли, кроме родителей. Папа был снова возле стола. Мама стояла у кухонных полок, в двух шагах от него, тесно сдвинув вдруг сделавшиеся крошечными туфли. Она плакала. Папины

башмаки двинулись к ней, подошли близко. Он что-то говорил. Потом еще ближе подошел, чуть ей не наступая на туфли, и туфли раздвинулись. Один его башмак был между ее туфель. Ее туфля, его башмак, туфля, башмак. Я глянул на Дымка, облизывавшего мне лицо. Он целовал ее. Она еще плакала. Ноги переместились, и я испугался, что сейчас она упадет, потому что одна туфля на секунду оторвалась от пола. Потом они замерли оба, просто стояли. Все было тихо, я не дышал. Дымок вылез из-под стола и сел у огня.

Это была моя первая смерть. Когда священник бросил первые комья земли на гроб, постук звоном отдался от кладбищенского косогора. Папино лицо отдернулось, как от пощечины. Мы все выстроились по краю могилы, она была темная, тесная, и веревки, продетые сквозь ручки гроба, вышли наружу, перепачканные бурой землей. Один могильщик уложил их на камне, прежде чем начал лить глину на гроб. Глина взбухла, будто сейчас выкипит. Мы ее подмяли цветами, прижали к ней на прощанье руки, как прижимали к лоснящейся крышке гроба и к восковым рукам Уны поминальной ночью, когда горела одна свеча и никто ничего не пил. Когда мы вернулись домой, свеча догорела и над мамой

хлопотали тетушки и соседки, все с одинаково строгим, напряженно-сочувственным выраженьем, так что красивые и не очень стали все на одно лицо. Мужчины посдергивали шапки и смотрели в пространство. Все отводили друг от друга глаза. Дети юркали среди взрослых, глядя ошалело, как увидевшие свет ангелы. Я поднялся в комнату, где лежала раньше Уна, сел рядом и смотрел на ее кровать, потом зарыл лицо в подушку, где осталась ее боль, хотел плакать и не мог, повторял ее имя, но про себя, не вслух, старался поймать ее запах, но пахло только мылом, ватой, выполосканной, ушедшей жизнью. Потом я услышал шум на лестнице и увидел, как дядья, поднимая над перилами, тащат снизу третью кровать. Велели мне посторониться, втащили ее в комнату, поставили рядом с кроватью, на которой болела Уна. Эта кровать, на которой Уна лежала мертвая в поминальную ночь, была с изголовьем, удобней. Теперь она достанется Дейрдре или Эйлис.

Уна приходила потом всего один раз, через несколько недель, в начале октября. Мама послала меня отнести на могилу цветы. Только полевые, в лавках слишком дорого. Я не вспомнил о поручении, пока время не подошло к четырем

и стало темнеть. Я бегом бросился на кладбище в надежде, что поспею. Но опоздал, ворота были на замке. Я припустил вдоль восточной стены, к углу, где стена обрушилась примерно на полметра, и без труда перелез на заросший участок, где росла высоко трава и я присмотрел цветы. Но ничего там не оказалось, даже на хилой живой изгороди под стеной, ни ягодки, ни стручочка. Я нарвал травы, хотел заплести косами, но она была мокрая, скользкая. Я запустил длинными стеблями в порхающую темноту, и они, исчезая в ней, рассыпались в разные стороны. Я метался по утоптанным между могилами тропкам и запутался, пока нашел свежую могилу и опознал в засохших цветах те, которые мы положили недавно. Я рылся среди венков, выкапывал не совсем гиблые цветы, но их осталось немного. Прелая роза, хризантема, сжавшаяся в орех, несколько ирисов, превратившихся в тронутые синевой мокрые черешки, — и все. Соединить их в букет кусочками проволоки с изначальных венков мне не удалось, и я присел на корточки, вырыл ямку, всадил их туда пучком и ногами утрамбовал землю. И все время, все время я повторял ее имя. Уна, Уна, Уна, Уна, Уна. Стемнело, я чувствовал себя виноватым и брошенным, и мне было страшно.

«Мне надо идти, — сказал я земле. — Надо. Я не хочу тебя тут бросать, но мне надо идти, Уна. — Стена далеко отодвинулась. Я поднялся с колен, обтер о носки руки. — Я скоро опять приду». Я припустил бегом, по темным тропкам, зигзагами, мимо круглых надгробий, огромных стеклянных колоколов с задыхающимися цветами, мимо кельтских крестов, вытянувшихся статуй, сирых голых участков и мимо другой могилы, свежее, где цветы сберегли краски даже в этом оскудевшем свете, согнавшем ближе друг к другу деревья. Она, Уна, показалась на тропке прямо передо мной, как всегда, в клетчатой юбочке, кофте, с бантиками в волосах и со своей чудной, даже еще более чудной улыбкой. Я хотел ее позвать, но ее уже не было, и мне стало жутко, я опять побежал, и добежал до стены, и с обрушенного верха оглянулся на сумрачный косогор с тяжкой ношей смерти. И опять я бежал, пока не увидел уличные фонари на Болотной, и соскреб о край тротуара грязь с башмаков, и стряхнул, сколько получилось, с одежды. И пошел домой медленно. Я опаздывал, но теперь это было не важно. Я думал — сказать или нет; смотря что будут спрашивать. Я знал, что мама расстроится, но ее ведь могло и утешить, что Уна еще здесь, хотя я

понимал, конечно, что не дело ей бродить одной ночью по кладбищу.

Мой старший брат Лайем решил за меня этот вопрос. Я его встретил на улице и тут же ему сказал. Сперва он слушал меня с интересом, но рассердился, когда я выразил сомнение, стоит ли говорить маме.

— Ты что, совсем? Ты же ее с ума сведешь. И так непонятно, где у нее была голова — посылать тебя за полевыми цветами в такое время! Конечно, любой нормальный человек сказал бы «да» и никуда не пошел. Ничего ты не видел. Ничего не говори. Нет, за тобой глаз да глаз нужен.

Всю ночь я лежал и думал о ней и слышал снова мамин долгий ужасный крик из розового сада. Все вскочили, опять Дымок забился под стол. Мне хотелось к нему, но все мы стояли и слушали, и она кричала, и рвала на себе волосы, и отталкивала утешающие папины руки. У нее так натянулись черты, что я почти ее не узнавал. Как ночью стоять на ветру — ее слушать. Всю ночь она плакала. И долго потом я слышал опять этот крик, такой неутешный, что будто бы дальний, и думал про то, как Уна стоит на кладбище, под огромными каменными крестами, и у нее красные бантики.

Чтение в темноте
Октябрь 1948 г

Первый роман, который я прочитал, был в зеленом картонном переплете и длиной в сто шестнадцать страниц. На титульном листе мама написала свою девичью фамилию. Я долго ее разглядывал. Чернила выцвели, хоть остались очень четкими буквы. Но были они чужие и говорили о ком-то, кем она была, пока не стала еще той мамой, которую я знал, о ком-то другом, кто просто не мог вести расходы, сидеть каждую неделю над счетами, выкатывая глаза и приговаривая одними губами то, что я принимал за молитвы. Под фамилией она вывела: «Евхаристический конгресс, Дублин, 1932 год». Что такое Евхаристический конгресс, я не знал, а когда спрашивал, мне отвечали туманно. Все там вертелось, кажется, в основном, вокруг Святого Патрика и графа Джона Маккормера[1], который пел гимн «Panis Angelicus»[2], насколько я понимал, чуть не весь

[1] notes: 1

Джон Маккормер (1884–1945) — американский тенор ирландского происхождения. (Здесь и далее — прим. перев.)

[2] notes: 2

"Хлеб небесный" *(лат.).*

1932 год напролет.

Назывался роман «Шан ван вохт» — фонетическая транскрипция ирландского «Бедная старуха», традиционного названья Ирландии. Был он про великое восстание 1798 года, породившее чуть не половину тех песен, которые мы распевали вокруг августовского костра в праздник Успения. На первых страницах люди шепотом разговаривали о ждущих их опасностях, сидя у очага жуткой зимней ночью с дождем и градом. Я читал и перечитывал эти страницы. Снаружи была непогода; в доме — огонь, затаившаяся опасность, любовь. Меня зачаровывала эта тонкая смесь, когда я читал, лежа в постели, и братья ворочались под лампой, которая им давила на веки и путала сны. Героиню звали Анна, героя — Роберт. Он ее не стоил. Когда они шептались, все интересное говорила она. Он только талдычил, что вот умрет и будет всегда ее помнить, хотя она была тут как тут, перед ним, со своими темными волосами, карими, глубокими и сияющими глазами, смуглой, нежной кожей. И я поэтому сам разговаривал с ней, говорил ей, как она хороша, и как я совсем не хочу восставать, а хочу сидеть с нею рядом и шептать ей на ушко, что теперь-то и есть навсегда, а не когда-то там, когда утихнут

стрельба и рубка, и тем, кто выживет, останется слушать, как воет ночной ветер, перекатываясь по кладбищам и опустелым холмам.

— Да выключи ты, ради Христа! Сам даже не читает, дурак набитый!

И Лайем переворачивался на другой бок, вонзая коленки в мой зад и сквозь зубы ругаясь. Я выключал свет, шлепал обратно в постель и лежал, лежал с открытой книгой, перебирал прочитанное, гадал, как бы мог развернуться сюжет, и роман разбегался бесконечными тропками в темноту.

Учитель литературы нам прочитал образцовое сочинение, написанное, к нашему удивлению, деревенским мальчиком. Рассказывалось про то, как мать собирает ужин, а потом они вместе ждут, когда отец вернется с полей. Она поставила на стол сине-белую кринку, полную молока, и прикрытую миску картошек в мундире, масло в масленке с красной каймой, а на крышке был выгнувший шею лебедь. Это их ужин. Все было совсем просто, особенно, как они ждут. Она сидит, сложив на коленях руки, и говорит ему про соседа, которому пришло самолетом письмо из Америки. Говорит, что отец, наверно, устал, но, какой ни усталый, он, конечно, улыбнется им,

прежде чем пойти умываться, и не позволит себе, конечно, настолько забыться, чтоб, не сказав молитву, усесться за стол, и пусть он, мальчик, обратит внимание, как отец улыбнется, когда он разложит учебники для уроков, потому что ученье для него диво-дивное, особенно латынь. И потом разговор умолкнет, только часы будут тикать, урчать чайник, и, как всегда, на камине будут смотреть друг на друга фарфоровые собаки.

— Вот так, — сказал учитель. — Вот что значит писать. Надо только рассказывать правду.

Тут я несколько дрогнул, потому что собственное мое сочинение пестрело длинными, странными словами, почерпнутыми мной в словаре: «лазоревые», «иллюзорные», «фантасмагорические» — и все это относилось к небесам и морям, которые я видел исключительно вместе с Анной из романа. А про такую ерунду разве стоило писать? Самая обыкновенная жизнь — ни тебе мятежей, ни любви, ни ночной бесшабашной скачки по горам и долам. Но потом мне все вспоминались мать и сын, ждущие в голландском интерьере этого сочинения с кринкой молока и маслом на столе, и то сквозили за ними, то на них наплывали из подернутых дымкой далей герои

восстания и шептались над широким огнем под надрывные вопли ветра.

Дедушка
Декабрь 1948 г

Брат Реган зажигал свечу у ног Пресвятой Девы в темном классе. Реган не разрешал включать верхний свет, когда произносил свою рождественскую речь в начальной школе. Реган был маленький, аккуратный, экономный. Он был осенью на похоронах Уны вместе с другими братьями из начальной школы.

— Мальчики, — сказал он.

Он сказал «мальчики» и помолчал немного и оглядел наши ряды. Потом опустил глаза и не поднимал, пока снова не сказал, уже громче:

— Мальчики.

Теперь он добился полной тишины.

— Кое-кто из вас, возможно, знает человека, о котором я сегодня расскажу. Вы можете и не знать, что вы его знаете, но это не важно.

Больше двадцати пяти лет тому назад, во время волнений в Дерри, этого человека арестовали, обвиняя в убийстве полицейского. Полицейский шел как-то ночью по Крэйгевонскому мосту. Была

ненастная ночь, ноябрь, тысяча девятьсот двадцать второй год. Время — два часа. Полицейский был не на службе, в штатском. По другую сторону ему навстречу шли двое. Когда полицейский достиг середины моста, те двое перешли на его сторону. Они прогуливались, беспечно болтали. Надвинув на глаза шапки и подняв воротники от стужи и ветра. Когда они поравнялись с полицейским, один сказал «Здравствуйте», и полицейский ответил. И вдруг он почувствовал, как его сзади хватают и поднимают. Он стал отбиваться, но его держали за ноги. «Это тебе за Нила Маклоклина, — сказал один. — Чтоб тебе гнить в аду, куда тебе дорога, убийца ты…»

Реган качнул головой, этим заменяя ругательство. И продолжал:

— Они его подняли над парапетом и с минуту держали как бревно, чтоб он нагляделся на воду футах в семидесяти внизу. А потом бросили, и он падал, и на мокром плаще сверкали уличные фонари, пока он, всплеснув, не пропал в темноте. Они слышали, как он бился, и один раз он крикнул. И пошел ко дну. Через три дня волны выдали тело. Никто не видел его врагов.

Они пошли домой и никому ничего не сказали. А через неделю был арестован один человек

по обвинению в этом убийстве. Его судили. Но единственная улика, которой располагала полиция, — он был другом и сотрудником Нила Маклоклина, убитого полицейским месяц назад. Говорили, что, умирая на улице, где его застрелили на выходе из газеты, в которой он работал, Нил Маклоклин успел шепнуть имя убийцы тому арестованному человеку. И тот человек, слышали, клялся отомстить, убрать полицейского — назовем его Билли Ман — в отплату за смерть друга. Для закона, конечно, этого недостаточно, правосудие не могло свершиться; это знали все, особенно в то далекое время. Так что полиция, возможно, надеялась выбить из него показания, но он не поддался и стоял на своем. В ту ночь его даже не было в городе. Редакция послала его в Леттеркени за двадцать миль, и это может подтвердить не один свидетель. Дело прикрыли. Все удивлялись, хоть и верили в его невиновность. Невиновность тогда не спасала католика. Как не спасает и теперь.

Ну вот, меня в те дни тоже не было в городе. Но один священник, с которым мы потом сдружились, был тогда молодым викарием. И он рассказал мне про того человека, которого обвиняли. Этот человек был известен в местных

спортивных кругах и помогал собирать средства на церковные нужды в приходе. Однажды ночью в ризнице Высокой башни — это там, совсем близко отсюда — он сказал тому священнику, что уже двадцать лет не ходит к исповеди. Есть у него такое на совести, что никаким покаянием не облегчить. Священник ответил, что надо полагаться на бесконечную милость Божию. Вызвался выслушать его исповедь; предложил, если он не хочет исповедоваться знакомому, пойти к кому-то еще; скажем, к одному монаху в Портгленоне. Но нет. Никакое покаяние, был ответ, ему не поможет, потому что он не чувствует сердцем раскаяния в том, что совершил. Он хотел бы кому-нибудь рассказать, не исповедаться, а так, поделиться.

И он рассказал священнику, как его арестовали. Как били резиновыми дубинками, сапогами, грозили сбросить с моста. Как он все это вынес, не дрогнув.

Священник сказал, что твердость, с которой он стоял на своем, свидетельствует о том, какую силу придает человеку сознание своей правоты.

Он глянул на священника с изумлением. И потом сказал эти слова, слова, которые священник запомнил на всю свою жизнь: «Да разве я об этом

толкую? О своей невиновности? Господи, неужели же не понятно? Я не был невиновен, отец. Я был виновен. Я убил Мана и, главное, снова убил бы, хоть сейчас, войди он вдруг в эту дверь. Вот почему я не могу исповедаться. Нет во мне печали, нет истинного раскаяния. Нет никаких мук совести. Ман прикончил на улице моего лучшего друга без всякой вины. Пьяному полицейскому с оружием захотелось подстрелить католика, и он сделал вдовой женщину с тремя малолетками и спокойно гулял бы себе до конца своих дней, может, даже повышение бы получил за беспорочную службу. А Нил мне сказал, когда лежал, истекая кровью, что это сделал Ман. „Билли Ман, Билли Ман, полицейский“ — так он сказал. И мне еще пришлось отбежать и спрятаться за дверь и оставить тело на улице, потому что они открыли пальбу с городских стен. И ничуть я не жалею, что пришил Мана, и я ему сказал за что, перед тем как бросил с моста, и он меня узнал, да только поздно узнал, когда я сказал ему „Здравствуйте“. Да уж, поздравствовал. Одним убийцей… — Реган нагнул голову, — меньше».

Мальчики, в истории, которую мне рассказал тот священник, а я пересказал вам, посмотрите — что же произошло? Человек сошел в могилу

без покаяния, не исповедовав своих грехов. И вообще — вдумайтесь в суть вещей. Ситуация порождает в людях зло. Злые люди порождают ситуацию. И в наши дни творятся подобные дела. Кое-кто из вас, мальчики, хочет в них участвовать, потому что вы искренне верите, что будете творить добро, отстаивая справедливость. Но вот что я должен сказать вам, мальчики. Есть судья, который видит все. Знает все и никогда не бывает не прав; судья, чья кара и воздаяние превыше человеческого суда; есть Закон выше людского правосудия, куда выше закона мести и прочнее законов любого из существующих государств. Этот судья — Бог, этот закон — Закон Его, и тяжба ведется за вашу бессмертную душу.

Мы с вами, мальчики, живем в преходящем мире. Тени, которые бросает на стены эта свеча, так же зыбки, как наше существование. Несправедливость, тирания, свобода, национальная независимость — все эти понятия поблекнут, потому что это временные понятия, а единственно ценное в жизни — лишь то, что озаряется отблеском вечности. Я знаю, кое-кто из вас думает, что несчастный, совершивший убийство, имел оправдание и будет прощен всемилосердием Божиим. Возможно. Я даже горячо надеюсь, ибо

кто же измерит милость Божию? Но подумайте и о полицейском: он мог бы, как и его убийца, терзаться чувством вины или так же себя оправдывать; мог гнать от себя печаль, а мог бы не знать покоя; сам бы себя простил или получил бы прощенье от Бога. Судить не нам. Но мы должны понимать, должны видеть разницу между злом, которое причиняют нам, и злом, которое чиним мы сами; сознавать, что наша преходящая жизнь, какой бы ни была она трудной, жестокой и жалкой, все равно есть Божье чудо и дар; что надо стараться ее исправить, но нельзя разрушать. Разрушая ее в другом, мы губим ее в себе. Мальчики, с каждым годом вы все ближе к тому времени, когда войдете в мир несправедливости, зла, обид, безработицы, в мир, где господствует нечестие и правит невежество. Но есть еще мир внутренний, который не смутит ничто, разврат не растлит, не заденет обида. Берегите его; это мир вашей детской былой наивности, мир вашей будущей чистой зрелости. Берегите его. С вами мое благословение.

И он поднял руку и осенил нас поверх голов знаком креста, перекрестил комнату, под срывающийся дребезг колокола в часовне задул свечу и велел включить свет. И молча вышел, и вслед

ему густо чадил у ног статуи низкорослый огарок в пышных воланах воска.

— Это был твой дедушка, — сказал мне Макшейн. — Я тоже знаю эту историю. Он работал в газете и дружил с Маклоклином. Мне папа рассказывал.

Я его засмеял. Я сам слышал эту историю, но никому не собирался докладываться. Раз замешан мой дедушка. Интересно — Реган знает? Но как мог такое сделать дедушка, маленький человечек, который целыми днями сидит в своей душегрейке, совсем больной, и всегда молчит? Да мало ли что говорят. Что-то я слышал подобное, когда был совсем маленький, лежал на площадке ночью, подслушивал разговоры взрослых внизу, на кухне, перегибался через перила и воображал, что это край парапета, а я падаю, падаю вниз, в реку прихожей, глухой и блестящий, как бревно.

Револьвер
Январь 1949 г

Той зимой было две полицейских машины — черная и черная, двумя межпланетными кораблями они приземлились из первого брезга улицы. Я видел, как металлическое сияние мелькнуло

в окнах соседнего дома, когда нас увозили. Но сперва — обыск. Один, яркий, в белом дождевике, шагнул в спальню, стал щелкать выключателем. Он орал, но я оглох от ужаса, и поэтому у него только закрывался и открывался рот. Закутанный в плотную тишину, я одевался. Я знал — они ищут пистолет, который я нашел накануне в нижнем ящике шкафа в соседней комнате, где спали сестры.

Он был длинный, прохладный, тяжелый, этот черный пистолет с синим отливом, и я его вынес тайком и похвалился мальчишкам с Фейн-стрит у старой городской стены. Они пришли погонять в футбол, потом у нас завязалась политическая дискуссия. Мне было строго-настрого велено даже не поминать пистолет, который, мне рассказали, папе подарил один молодой немецкий моряк, чью подводную лодку привели в наш порт, когда кончилась война. Его и еще тридцать таких же разместили в бараках за доками, и папа его подкармливал каждый день бутербродами и молоком, потому что помогал у них налаживать электропроводку. И перед разлукой молодой моряк подарил папе на память этот пистолет. А поскольку наши родственники в тюрьме за связь с ИРА, за нашей семьей следят и надо держать

ухо востро. Но что ты будешь делать с маленьким идиотом.

Толкаясь из-за пистолета, мы прикидывали его вес, определяли, прикладывая к руке, длину, целились. И вдруг я почувствовал — на меня смотрят. В проулке стоял Фоги Маккивер. Всем известный полицейский осведомитель. Молодой, лет двадцати, открытое лицо, ясная улыбка, круглые, удивленные глаза. Словом, душа нараспашку. Он проследил, как я внес пистолет обратно в дом.

Я выждал десять минут, потом опять его вынес в старой газете и захоронил за полем в каменоломне. И настолько успокоился, что забыл про него думать еще до того, как лег спать. И вот — полицейские переворотили весь дом. Отодрали линолеум, распотрошили пол, шкаф ничком лежал посреди комнаты, со стен висели ленты исхлестанных обоев.

Нас согнали вниз, на середину кухни, а сами там шуровали. Один вскрыл банку персиков и все засеял желтыми полумесяцами в засахарившемся сиропе. Другой вышел во двор, обыскал сарай, вспорол мешок цемента. Вернулся в белом облаке, увязая в липком полу, осыпая цементные хлопья. Ватная тишина все еще закутывала меня.

Забыв о законе тяготенья, по комнате плавали вещи. Лица были мокрые от пота, от слез. Потом нас с папой и Лайемом затолкали в полицейскую машину, а блеск утра уже вовсю разыгрался на крышах, и он убежал за угол, когда мы свернули к казармам, которые оказались совсем близко от нас.

Где ствол? Меня с ним видели, где он? Огромные лица наклонялись ко мне и спрашивали сначала бесшумно, потом громко, громко. Папу втащили на стол, усадили, потом распластали с раскинутыми руками. Его — по плечам, по шее — били резиновыми дубинками, короткими, нестерпимо красными. Он им говорил — не верили. И стали бить нас с Лайемом от него через стол. Он смотрел, я запомнил ярость на его мокром лице. Когда меня прижали к столу подбородком, я на него глянул. Подмигнул он мне? Или сморгнул слезы? Потом моя голова запрыгала по доскам, и я больно прикусил язык.

Долго я просыпался под утро в поту, я слышал вопрос, вопрос: «Где ствол? Где он? Где ствол?» Я снимал с лица паутину страха. Когда по улице промахивал свет фар, мне мерещилась полицейская машина, у меня холодели волосы, потели руки. Полицейский запах отшибал у воздуха

кислород, я сидел на постели и задыхался.

Глава вторая

Огонь
Июль 1949 г

Это был город костров. У протестантов их было больше. Двенадцатого июля они праздновали день своей победы в битве у Война в 1690 году. Потом двенадцатого августа они праздновали день освобождения города от осады католиков в 1689 году. Потом сжигали чучело Ланди — восемнадцатого декабря. Ланди был предатель, он хотел открыть ворота города католическому врагу. А у нас костры были только пятнадцатого августа. Церковный праздник, но мы его приурочивали еще и к политике, отвечая па их двенадцатое июля. У нас праздники были неофициальные, не то что у протестантов. Нас гоняла полиция, то заставит гасить костер, то не даст собирать для него старые автомобильные шины, то рубить деревья. Огонь — вот на что я любил смотреть, о чем слушать. Он меняет серый воздух и улицу, прыгает и всех веселит. Когда в середине августа в честь праздника Успения Пречистой Девы там,

куда параллельно сбегали улицы, у каменного вала зажигали костры, они подпаляли небо, и то и дело с альтовым всхлипом взвивались черные свитки шинного дыма. Постепенно едкий дух этого пламени истончался в аромат ровно горящего дерева и плыл над сомкнутыми рядами домишек по песчаным отрогам асфальтированной Болотной, означавшей для нас рубеж между собственно городом и началом пригорода, приволья, в четырех милях от нас впадающего в Донегол. Под утро на скамьях и кухонных табуретках вокруг костров еще пели; трескалось от жара ближнее окно; полицейская машина в засаде тьмы на стометровой дистанции включала фары и скользила прочь; костры догорали до красных внутренностей; съеживались на щипцах тени. Праздник Успения сползал в шестнадцатое августа; слаженный хор рассыпался на голоса. На этом кончалось лето. Осень подмешивала в зарю сонной бронзы, свет, крепчая, заглатывал ослабевшие звезды; приходилось, хочешь не хочешь, уносить по домам табуретки.

Улочки, разбросанные вокруг винокурни, где сражался дядя Эдди, страдали, увечные, долгой неизбывной тоской. С винокурен ушли испарения виски, запах кирпичного жара, янтар-

но-закатное зарево, тускло медлившее, наверно, над испуганными домишками. Теперь зато у нас был готический собор, который, вместе с жильем для клира, смотрел с высоты своей серокаменной вечной зимы на это несчастное место, представлявшееся мне линялой и лысой заплатой, враждебной и чуждой немощеным улицам и тяп-ляп сгрудившимся постройкам, ледником сползшим по косогору от городской стены туда, где начиналась наша территория. В ранней зимней тьме, едва разбавленной слабыми уличными фонарями, мимо спешили тени, «спокойной ночи», «спокойной ночи» — и прочь убегали голоса.

Возле нашего дома было два простора. Поле на наших задах сбегало к Болотной; перейдя в шоссе, она лукой загибалась к Блучерской, а потом, распрямясь, спешила к полицейским казармам. Это шоссе с обеих сторон было забрано каменным валом с плоским парапетом, по нашу сторону всего в полтора метра, а по другую — в четыре. По другую сторону начинался Минанский парк, хотя взрослые называли его по-старому: Поле Уотта — по имени хозяина винокурни. Можно бы взобраться на вал и спрыгнуть по другую сторону; но вал проходил по изножью улиц — Липовой,

Тирконелла[3], Буковой, Вязовой, и каждая его рассекала прямоугольным просветом, в котором сквозили спускавшиеся к парку ступени. Строй бомбоубежищ отделял верхнюю часть парка от нижнего пустыря, где мы гоняли в футбол. Ночью в поле и в парке было темным-темно. Единственный тусклый, низкорослый и гнутый фонарь в конце каждой улицы — вот и все освещение. Нам строго-настрого запрещалось играть ночью в парке, потому что там бродит призрак дедушки Уотта и хочет отомстить за разоривший его пожар. Кто видел его, говорили, что он просто шатается под деревьями черной тенью, но у тени этой есть рог, и рот разевается, а там бушует пламя.

Чтоб добраться до винокурни, нам надо только перейти Блучерскую, пройти бульвар Эглинтона, пересечь Торфяник — слева скотобойня — в лепешках, катышках, лужах коров, овец, свиней, которых сбрасывали грузовики с откинутыми бортами. Здесь, громадная, краснокирпичная, почернелая, страшная, давила целый квартал винокурня. И тыкала в небо черными культями стропил. Иногда, проходя, я слышал отчаянные вопли свиней. Вопли были до того человеческие,

---

[3] notes: 3

Рори О'Доннел, первый граф Тирконелл (1575–1608) — борец против англичан за независимость Ирландии.

что я ждал: вот распадутся на слова, будут молить о пощаде. Они эхом отдавались в пустой винокурне, рыданьями просачивались сквозь разрушенные полы, застревали в черных кирпичах. Я слыхал, что люди выбежали из домов, когда началась пальба и полиция сомкнула кольцо. Толпа на улице возле Торфяника завела повстанческие песни, полиция открыла огонь поверх голов, толпа рассеялась. Стрелки ИРА с крыши, из окон верхнего этажа послали несколько выстрелов — спичечными вспышками в небо. Огонь перекрыли, их окружили, они погибли. Это был прощальный протест при образовании нового государства. Потом — взрыв, здание сотряслось, вспыхнуло. Никто не знал, будут ли его восстанавливать и когда или снесут ради новой застройки. А пока оно оставалось жженой раной в сердце околотка.

Город лежал, зачарованный сонным светом реки и зеленых полей. Иногда он вдруг вскидывался, как кто-то, напуганно кричащий со сна, печалуясь о своей заброшенности. Как-то в день Святого Патрика, в самый разгар беспорядков, строй полицейских с дубинками загнал нас на нашу территорию, а мы заманили их дальше, с Болотной, к улице под названьем аллея Стэнли, она

параллельна нашей. Выплеснули полканистры масла из разграбленного гаража на вихляющую по склону дорогу. Полиция за нами гналась под градом камней, летевших в их машины и джипы. Рекламные щиты на обочине первыми приняли залп, когда две ведущие машины въехали на масло. Гигантскую картонную кока-колу изрешетило, как и вздернутый подбородок обладателя бритвы «Жиллет». На крутом вираже машины просвистели в проулок, роняя камни, как рой соломин. Масло блестело в пенном мчании шин, и одна машина занялась огненным синим кольцом, из которого выскакивали полицейские. Улица как-то присела, скособочилась, налегла на горящий забор старого гэльского футбольного поля.

Американские города
Сентябрь 1949 г

Чикаго — вот на какой бы город мне хотелось взглянуть. Я слышал, там был когда-то страшный пожар, хотя, может, тут я путал с Сан-Франциско и с землетрясением, которое его разрушило, это уж точно. У американских городов вообще такая несчастная судьба. «Англичане бомбили Вашинг-

тон», — мне сказал дядя Дэн. Интересно — все из-за этой войны? Я себе представил «спитфайры» с белыми, красными, синими глазками на крыльях, и они пикируют, как на нас пикировали немцы, и американцы кричат: «Проклятые!» «Не было этого», — сказал дядя Мэньюс. «А вот и было. Под корень скосили, — сказал Дэн. — Я своими глазами где-то читал». И не везет же этим американским городам — бомбы, пожары, землетрясения. Просто представить себе невозможно. Дэн сказал, что у него один знакомый видел пожар Чикаго, так огонь, он говорит, перескакивал через реку, как антилопа, аж кипела вода. Джон сказал, что видел своими глазами, как виски сбегало по уличным желобам, когда сгорела винокурня, и огонь вился поверху синей каймой, люди ведра подставляли. Вокруг свистели пули. Одна выбила из рук у мужика ведро, виски взорвалось, и мужик матом ругал борцов ИРА за то, что из-за них он остался без виски и хорошее ведро погубил. Э! Этот пожар еще семечки в сравнении с тем, что сейчас делается, отвечали Джону. В Германии и в России вон огромные земли будут тлеть до скончания века. Люди прямо улетучиваются, такой жар. «А ты можешь улетучиться?» — спросил я папу. Папа

сказал, что может. Господи, сбросили бы парочку таких бомб, чтоб эта богом забытая дыра улетучилась, сказал Дэн. Хоть погреться немного, пока пойдешь в лучший мир. Дэн всегда так говорил. Лучший мир. Туда уходили армии. Взрывом уносило военные корабли. Туда затягивало мертвые субмарины. В нем таяли стертые бомбежками города. Я представил себе, как американские города туда плывут, скребя облака небоскребами, а тут еще кто-то сказал, что Лос-Анджелес значит «город ангелов». Что делало вознесение на небеса еще более вероятным. Да уж, там такие есть ангелки — закачаешься, сказал Том. Немыслимый лучший мир Дэна скорей подобал американским городам с их выдающейся судьбой. А у нас — дождь и дождь, проливной, носа не высунешь, разве что Дэну хорошо, тощему, он час целый может между струями протискиваться и остается сухой насквозь. Его и видно-то тогда только, когда плащ наденет. Дэн, хохоча, заявил, что в сравнении с мужем моей тети Кэти, Тони Макилени, он пусть и канат, а все же с узлами. У Макилени уши, Дэн сказал, шире плеч. Не говори ты про эту сволочь, сказал дядя Мэньюс; тощий тощий, а напакостил за десятерых. Он же ведь в Чикаго уехал? — спросил я. Все посмотрели на

меня. Да, уехал он, сказал один. И между прочим, не вернулся. Жену оставил с малолеткой. Я лично в жизни ему не верил. Дамскому угоднику. Под итальянца работал, да? — сказал другой. И говорил как итальянец, руками махал, и улыбочка его эта сладкая. Да, тот еще фрукт, Макилени. А он Эдди в Чикаго не видел? — опять спросил я. Может, он Кэти про это написал? Да факт, сказал дядя Мэньюс. Так он ей и написал. Может, Эдди погиб во время большого пожара в Чикаго, сказал Джон. От одного убежал, в другой угодил. Как думаешь, Фрэнк? Ну нет, ответил папа. Этот пожар в Чикаго — он же задолго был до того, как Эдди там оказался. Это если он оказался, кто-то сказал. А ты время не путаешь, точно? Может, сходится все же? Голоса набегали один на другой. Это если он оказался. Кто сказал? Я не запомнил. А если не оказался? И почему не вернулся Макилени или хотя бы не вызвал жену с дочкой? Небоскребы в этом Чикаго, сказал Дэн, до того высоченные, что бутылку виски выпьешь на верхнем этаже, а уже на полпути вниз душа поправки потребует — даже если летишь с парашютом. Все грохнули и снова тасовали, быстро-быстро сдавали карты. «Вальты старшие, тебе открывать», «Тройка», «Две двойки». Я ушел играть в гандбол перед

домом на краю улицы. Проберусь между струями, вернусь сухой насквозь, а все уже разойдутся, и папа будет в кресле клевать носом, и карты разбросаны по столу и сияют красной и черной мастью.

Кровь
Октябрь 1949 г

Она кашляла. Алые искры падали на серую рубашку, на пододеяльник, на простыню. Она на меня смотрела огромными глазами. Я не мог шелохнуться, ноги были как свинцовые, сердце бухало вверх-вниз от горла до пят, будто кто сзади меня огревает хлыстом. Я не добежал до двери, она открылась, вошла тетя Бернадетта. Глянула на нас, и у нее дрогнуло лицо.

— Господи боже, — она шепнула. — Ина.

У нее за спиной показался дядя Фонси.

— Что тут такое?

Ина навзничь лежала на кровати, глаза выкачены, руки хватают одеяло. Снова стала ловить ртом воздух, снова закашлялась. Кашель — как лисий лай. Отирая рубашку, я отскочил к стене. По дому пополз шуршащий шум, будто включили радио. Бернадетта плакала, отирала сестре лицо,

рот, выжимала платок в белый эмалированный таз, и блестящая вода краснела, краснела.

Фонси исчез. И сразу почти лестница задрожала от топота, от голосов. Потом доктор болтал стетоскопом, пастор разматывал лиловую епитрахиль.

— Беги домой, скажи отцу, чтоб шел сюда, немедленно. Живо.

Все говорили разом, на меня наступали.

Я бросился вниз, через три ступеньки, на улицу, под острый ветер с едкими запахами реки и сдобностью ближней булочной. Все стало бледным в плоском вечернем свете. Кто-то ехал в гору на велосипеде, стоя на педалях, и куртка на спине собиралась складками, с усилием расправлялась. Я подслушал шумно задержанный вдох, вырвавшийся, когда я пробежал мимо, и, срезая расстояние, кинулся по проулкам к заднему полю. Калитка была на засове, я махнул через забор, спрыгнул прямо на розы. Папа сразу вышел из сарая.

— Ина, — сказал я. — Ина заболела. Они меня послали тебе сказать.

Он подошел ближе, нагнулся ко мне. Ветер дергал мне волосы, гремел дверью сарая за папой.

— Погляди на себя, сынок, — сказал он. — По-

гляди на себя. Ты весь в ее крови.

И своей огромной рукой тронул мою щеку. Показалась мама, почувствовала неладное, побежала к нам через двор.

— Погляди на него, мать. Погляди на него. Это кровь Ины у него на рубашке. И так они его погнали. Господи, ей опять плохо. Может, она…

Догоняя свой голос, он вбежал в дом, схватил куртку и убежал.

На похоронах Ины, когда могилу уже засыпали, Лайем меня водил от одной группки стоявших вокруг к другой. Послушаем и отойдем, давясь смехом над этим выговором, этими причитаньями. Не разговор, сплошные распевы:

— Ах ты хосподи, беда-то какая, да еще под самое под Рожество, да-а.

— Беда, уж беда так беда.

— И Рожество, глядишь, вон оно.

— Ох ты хосподи, беда-беда.

Сдвинув шапки на нос, кивают в лад головами, медленно возят ногами.

— Бернадетту видал, меньшую-то?

— Бернадетта? Бона как! Ну-у, сдала.

— Ох, сдала, сдала. Смерть, шутка ли.

— Еще какая смерть-то. Раз — и нет человека.

— А гляди, как с братом схожа. Одно лицо.

— Ты про какого брата?

— Пропал который. Эдди. Который исчез.

— Этого не видал. На него, стало, говоришь? И бывают же семьи…

Смеяться нам с Лайемом расхотелось. Мы вслушались. Но они уже почти ничего не успели сказать, подошел папа. И нас увел.

— Да, беда, она одна не ходит, — неслось нам вслед. — Старший бог знат где, теперь сестра вон меньшая. Давно хворями маялась, царство небесное.

Папа нас привел на могилу своих родителей, встал на колени и помолился. 23 декабря 1921 года — отец, 28 декабря 1921 года — мать. Имена неразборчивые на старом камне. Мы встали с колен. Кладбище почти опустело. Река внизу лукой убегала в клубья тумана, катящие с Атлантики. Папа ничего не говорил, только у него был какой-то закушенный рот.

Значит, Эдди похож на Бернадетту. Это уже кое-что. Но, по-моему, Бернадетта похожа на папу. Из одного теста слеплены, как же иначе, сказала мама. Она видела Эдди? Спросив, я удивился, что давным-давно не задал этот простой вопрос. Почти не видела, был краткий ответ. Значит, видела все же? — наседал я, похож он на папу?

Очень похож? Да так. Она темнила, я переключил тему. Расскажи про вражду. Это связано с Эдди, да? Сынок, сказала мне мама, иногда я думаю, что ты не в себе. Оставь ты в покое прошлое. Но это не было прошлое, и она это знала.

Такая ломаная была у папы семья, что я чувствовал: с этим надрывом можно жить только если держаться в стороне, не подходить, не трогать, как не трогают опасный огонь, давая ему догореть. Эдди пропал. Родители умерли в одну неделю. С двумя сестрами, Иной и Бернадеттой, обращаются как с прислугой, держат в курятнике. Долгая, молчаливая вражда. Брошенная ферма — книги, балки — у самого Поля пропавших. И — молчание. Папа что-то знает про Эдди и не говорит, не рассказывает, иногда только вдруг намекнет, проговорится. Я чувствовал вокруг нас пустоту, и в этой пустоте ветвился его долгий крик. А иногда казалось, что это хитрый, замысловатый, непроходимый такой лабиринт и кто-то рыдает в самой середине.

Вражда
Февраль 1950 г

Вражда, вражда. Мне чудилась ферма, солнеч-

ная и просторная, чистая, терпкая, и робкий скот разбредался далеко внизу по песку, ладно, и тяжело, и мокро блестящие на берегу водоросли мульчей ссыхались в полях, и грубый морской дух, выветриваясь, делался горьким.

Все звуки всех времен года пеленали воображенную ферму. Петляла, петляла вокруг белая дорога, в окнах, лето за летом, зима за зимой, стояло небо, но внутри было пусто, ни воображаемых голосов, ни шагов, и только засело в памяти, как папины башмаки грохочут по половицам и меня поднимают к рассеченному свету окна. Там во дворе, наверно, колонка, думал я, и навозная куча дрожит от мух и нутряного жара, и лиса крадется во тьме к курятнику, и ветер вычерчивает следом за ней ее запах нежным пером. Воображенные запахи догоняли бегущие образы, как фоновая музыка в фильме, и они потухали разом, а я оставался в молчащей спальне, с книжкой, ничком легшей мне на лицо, и сосущим чувством утраты.

Папа пел, ополаскивая тарелки, скребя кастрюли:

Где Лаган берег точит,
Не спишь ты, моя краса,

Как небо лунной ночью,
Твоя блестит коса.

Это песня Донегола, он сказал. Один старик в Термоне пел ее, а папин прадедушка слышал когда-то, перед Великим Голодом. Это не про реку Лаган, которая течет по Белфасту, просто поток такой катил широко и вольно, пока не стал служить Фойлу притоком. Как он ее услышал, хотел я знать. Прадедушка был, что ли, собиратель песен? Нет-нет, тот старик, который пел, был дорожный рабочий. И он объяснил прадедушке, как пройти по горной дороге, чтоб выйти на Отравленный Дол, что в западном Донеголе, и прадедушка угостил его кружкой нива в ближней пивной. И там старик встал, снял шапку и спел эту песню. А кто был прадедушка? Он закупал товары для одной фирмы в Дерри. Заключал договора с крестьянами на молочные продукты, овощи, всякую всячину. Из-за Голода все пошло прахом. А потом из-за Великой Войны все пошло прахом у твоего отца, да? — спросил я, нащупывая под раковиной полотенце и слушая, как мой голос гудит над витком трубы, уводящей воду к канализации на заднем дворе. Он, наверно, кивнул, и потом он снова тихонько запел. Тут я

подтянул второй куплет.

И нету мне покоя,
И воля мне немила,
Ты сердце ретивое
Мое отобрала.

Я посягал на недоступно высокие ноты, мелодия подпрыгивала, но он все равно улыбнулся и взъерошил мне волосы, потом засмеялся — заметил, какая мокрая у него рука и в пене. Я тер голову полотенцем, смаргивал лопнувший на брови мыльный пузырь. Хорошая песня, сказал он. Я кивнул и сказал: хорошо бы почаще ходить в Донегол, в то место, где прадедушка — ой, что я, он же мой прапрадедушка — ее слышал, в этот Термон. Или даже подальше, где дедушка жил с семьей, в горы, у Бреши Мамора, на полуострове Инишховен. Пойдем-пойдем как-нибудь, он пообещал. Как-нибудь он меня туда захватит. Это где ферма с балками? Я помню, как мы там были. Взглянуть бы еще разок. Тут я понял, что когда-нибудь он расскажет мне страшное, и вдруг испугался, не захотел. Держи при себе свои тайны, молча просил я, держи их при себе, не хочу. Но я же хотел все знать. Я бы тогда, наверно, еще

больше его любил, но я стал бы меньше любить себя за то, что заставил его сказать, выведал его тайну, пел его песню, за то, что это на моей рубашке была кровь его мертвой, обиженной сестры.

Пока не умерли родители, они вместе певали эту песню и разные другие. Эдди пел лучше всех. Ну, я так и знал. А потом родители заболели, их тут же свезли в больницу за Фойлом, это сразу как перейдешь Крэйгевонский мост, и больше он их никогда не видел, даже в бессонную ночь перед погребением, потому что были закрыты гробы. Как похоронили, пришли, помнится, домой, а там — ничего. Все постельное белье сожгли. Сделали дезинфекцию и заперли дом. А ребятишек разобрали родственники. Вот тогда его сестры и стали жить у тетки, материной сестры, на той ферме в Донеголе. Тогда исчез без предупреждения Эдди. Больше папа его никогда не видел, правда, ему говорили, что он на юге, вступил в ИРА. Он уже не помнит, как ему говорили. Одно помнит: весь его мир за неделю, за две недели перевернулся. Вот только что сам был пацаненок, и вдруг — целая орава сирот на руках. Ему было всего двенадцать, а Эдди, на пять лет старше, исчез незнамо куда. И он остался за старшего. Получил работу рассыльного в москательной у

мистера Эдмистона, у протестанта, и тот его сразу погнал, когда через пять лет посмел заикнуться о прибавке жалованья. Вот тут он стал зарабатывать на жизнь боксом. И уж потом получил свою эту нынешнюю работу — подручным электрика на морской базе. Детей разбросало кого куда, кто приютит. Дядя Фонси с папой оставался у родственников, и как-то тетка, он помнит, когда Фонси потянулся за маслом, оттолкнула его руку. «Ты маргарин кушай, — сказала, — масло только для моих детей». В ту же ночь они убежали — он от одного воспоминания покраснел, — остались в ночлежке, а через неделю он снял себе комнату на Карлейль-роуд, а Фонси пристроил у родни, где пообещали с ним обращаться как со своим. И обращались. В той комнате он прожил четыре года, жил на овсяной каше, картошке с пахтой, работал, тренировался, стал выступать на ринге. Все, что осталось от родителей, поисчезало у родни, вплоть до фотографий. Сперва им говорили, что все пришлось сжечь; но, оказывается, сожгли только простыни, полотенца — такие вещи. Потом им сказали, что иначе было нельзя, все пришлось отдать, чтоб прокормить лишние рты. Дом продали. Денег дети не видели. Как-то он пошел на эту ферму — а там полным-полно книг,

мебели, картин из родительского дома, а сестры Ина и Бернадетта спят на раскладушках в сарае возле курятника. Больше он не захотел видеть этих людей, не захотел с ними знаться. А Эдди — тот за свободу боролся. Тут он горько покачал головой. Свобода. Здесь-то. Никогда ее не было, никогда не будет. Да и что значит свобода? Делать что хочешь свобода — это одно. Делать что надо свобода — это другое. Похоже-то оно похоже, да не так чтобы очень.

Я посмотрел на его понурую голову, на огромные руки, розово-чистые от мыльной пены. Хотел спросить про Эдди, посмотреть, скажет или нет, но я не хотел, чтобы он сказал только потому, что я спрашиваю. Он глянул на меня, улыбнулся — мол, было-было и быльем поросло, и не надо мне обо всем этом тревожиться. Я помялся, потом сказал — пойду гляну, может, кто-то змея пускает на заднем поле, потому что ветер и светло еще. Но никого там не было, и я весь вечер пулял заостренными стрелами в заднюю калитку, смастерив лук из ветки молодого ясеня; выну стрелу и пускаю снова, смутно радуясь только тогда, когда она со стуком вонзится в дерево, и подрожит, и вызвонит короткую песенку.

Форт
Июнь 1950 г

Лежа в нежном качании зеленого света, процеживаемого высокими папоротниками, мы слушали птичью перекличку в холмах.

Это была пограничная зона. Всего в миле от нас поток, рассеченный горбатым мостом, воплощал отрезок той вьющейся красной каймы, которая объединяла на карте наш город с заливом Фойл. То и дело мы вставали в папоротниках, оглядывали вересковые заросли, бледно-белую дорогу, юлящую меж высоких шпалер. Никто нас не мог увидеть, но нам чувствовалось — следят. Мы сбегали на мост, перебегали его туда-сюда, знобко ежась от риска, нарушали границу.

На одном берегу над самым потоком были густые терновые заросли, и, быстро-быстро свивая и развивая крохотные тельца, что-то ловко вывязывали между тесных ветвей вьюрки. С другого — начиналось Свободное Государство. Тропа метров тридцать прямо бежала в траве, потом резко вихляла под дубом и устремлялась к одинокой лавчонке, железной будке, наскоро сооруженной для сбыта послевоенных запасов еды по

нашу сторону границы. Тут даже сигареты были другие: виргинский «Тихий вечер» — красное с белым, медальный Роби Берне и понизу строка из «Тихого вечера» косо бежит по картинке (дуб, поток, миниатюрный пейзаж). Здешние голоса нам казались лоснистыми, мягкими, как блистающие круги масла на прилавке, ярко-желтые, припечатанные изображением лебедя. Папа и мама были родом отсюда, из Донегола.

Как-то мы с Лайемом пригрелись в папоротниках и уснули и проснулись, когда уже пал холодный вечерний туман. И мы решили подняться наверх, к старому форту, к Грианану. Название это значит Форт света, Солнечный форт, так нам говорили, и он простоял тут тысячу лет. Мы решили добраться доверху, а потом, срезав путь, спуститься по песчаной дороге прямо от Грианана на нижний большак. Пока мы поднимались, туман сгустился и форт исчез. Мы жались друг к другу, мы оскользались на ноздреватых кочках, легонько вздыхавших среди камней и вересковых корневищ. Мы делались меньше, меньше, а туман над нами клубился, катил мимо, опять возвращался, ластился к нашим ногам, застил зренье, и мы не видели, куда идем. Вдруг мы слышали гул отдаленного хохота, думали, что

пришли, но звук блекнул, отодвигался, возвращался с другой стороны — громче, глуше, ближе, дальше. И только ныряние нетопырей, добывавших себе пропитанье из воздуха, удостоверило нас, что мы добрались. Мы уже знали, что они облюбовали болотистые места на запад от форта. Мы часто смотрели в сумерках, как они носятся над пограничным потоком, и пикируют на тучи мошки, и, зависнув, дрожат. Тьма сгущалась, и они тянулись в горы, мы теряли их из виду, а потом они объявлялись над фортом, мелко попискивая в слепом извивистом лёте. С вершины мы вглядывались в созревавшую тьму, перемещавшуюся дальше, к горам Донегола, туда, где свет еще медлил в слоистом небе над горизонтом. Вот откуда мы вышли — из этих откосов, из этой тьмы, где дома пересыпали сейчас горстки огней, далеких, как звезды. Десятки маминых родственников, сплошь словоохотливых, и несколько папиных, молчаливых, все незнакомые, все упрятанные по фермам с книгами, балками и враждой.

Вражда. Неужели она правда пошла с той фермы в Кокхилле за Банкраной, где потолочные балки и книги-книги по стенам?

И это с ее деревянного пола папа тогда сгреб

меня, брата и увел маму в долгие годы молчанья? И все потому, что узнал, что с его сестрами обращаются как с прислугой, заставляют спать в сарае возле курятника? Помню большие балки, когда он поднял меня на руках, помню пыльную дорогу, когда он меня опустил, поставил, помню их голоса над моей головой, помню небо над ними, вздутое грубыми тучами из Атлантики. Больше мы этой фермы не видели. Папина мать, давно умершая, вскоре после пришла к нам, мне мама рассказывала, постояла в ногах папиной постели, пока он спал, посмотрела на него, улыбнулась маме, потрогала одеяло и ушла. Мама вообще была немного не от мира сего. Так про нее говорили. По-моему, ей это льстило.

Было ли стоянье в ногах постели знаком одобрения со стороны папиной матери? Благодарностью, что он спас ее деток, вызволил из рабства? Мама считала так Я тоже. Но я опять вспоминал Эдди.

Его-то не спасли. Но он ведь не имел отношенья к вражде, да? Никакого. Он ушел сразу после смерти родителей. А вернувшись, тут же снова исчез в розовом полыхании виски.

Это было задолго до вражды, как ее называла мама. Вражда. Я пробовал большое слово на вкус,

подозревая в нем сложную, неведомую начинку. Лежа в постели и вглядываясь в Святое Сердце на стенке, я вспоминал грустные умирающие глаза Ины, откинувшейся на подушку. Глаза на картинке всегда следили за мной, хожу ли я по комнате или лежу. И каждый раз, заглядывая в эти глаза, я думал, что в нашей семье кроется глубокое горе, про которое я не знаю, глаза меня убеждали, что бывает печаль, которая вот так режет сердце.

Поле пропавших
Август 1950 г

Летом 1950 года у нас было полегче с деньгами, потому что папа сверхурочно работал в доках. И мы могли себе позволить отдых — две недели в пансионе в Банкране. Папа приезжал на автобусе по выходным, в будни он отпрашиваться не мог. Стояла жара — ровная, яркая, как металл. Когда надоедал пляж, мы бродили по холмам за городом, старательно сторонясь Кокхилла и фермы вражды, как мы называли, где в горах будто затаилась папина родня. Но в первое же воскресенье папа взял нас с Лайемом и повел по дороге, которая неотступно, виток за витком, поднималась ближе и ближе к тому самому месту,

где, мы считали, была эта ферма. Мы переглянулись, но ничего не сказали. Только смотрели слепо на разбросанные по плавным склонам картофельные грядки, на колышущиеся проборы, которые прочесывал в звенящих хлебах ветер, на чаек, праздно отдававшихся его воле, прежде чем обсесть прибрежные скалы. Сейчас он нам кое-что покажет, сказал папа. У него блестел лоб; рыжеватые волосы редели, суровое лицо казалось поэтому беззащитней, нежней. Он шагал тяжело, без всегдашней пружинистости. Лайем так в тот день был на него похож — мастью, жадной синевой взгляда. Я, темный, в маму, был среди этих двоих как чужой.

Дорога, вильнув, повела нас в сторону океана, потом, петляя и морщась, снова отступила вспять. Мы стали на обочине. Папа показал на море.

— Ничего особенного не видите?

Мы вгляделись. Поля сбегали к прибрежным скалам, волной вздуваясь на подступах. Ничего мы особенного не видели. Перелезли через калитку и полями спустились в мелкий дол, заросший клевером, лютиками, одуванчиками, ромашкой; а потом земля взгорбилась, собралась последней складкой и вот уже торчала скалистым гребнем. И когда отсюда глянешь вверх, там, далеко,

отделившись от седых камней, будто висела в воздухе зеленая травяная полоска. На эту зеленую полоску, он сказал, и надо смотреть. Набраться терпенья. Следить за птицами. Они туда полетят, но ни за что не пролетят над ней. Мы смотрели. Чайки, скворцы и ласточки висели в воздухе. Так высоко, что и не поймешь, над той они полосой или нет. Но ни одна на нее не садилась, это уж точно, хотя подлетали близко. Почему? Что это? Скажи! А потому, он сказал, что это Поле пропавших. Птицы, когда туда летят, теряются из виду и потом возвращаются; а если пролетят над самым полем — они пропадают. Мы смотрели. Сердце у меня бухнуло и покатилось, хотя сперва я подумал, что он шутит. Море гремело у меня в ушах, мчалось понизу, мчалось. Нет, это правда, он сказал. Такое название. Здешние крестьяне обходят это место стороной. Говорят, что души всех, кто родился неподалеку, а потом пропал или не сподобился христианского погребения, как утонувшие рыбаки к примеру, чьи тела не могли отыскать, собираются тут три или четыре раза в году — на Святую Бригитту, на Всех святых и на Рождество — и кричат, как птицы, и глядят на поля, откуда они вышли. И каждого, кто ступит на это поле, постигнет та же судьба; а если

кто услышит те крики в те дни, надо поскорее перекреститься и молиться погромче, чтобы их заглушить. Не приведи бог услышать такую муку, надо только молиться, чтоб тебя она миновала. А если ты в доме, когда раздаются крики, закрой двери и ставни, не то мука войдет в твой дом и уже никому там не жить. На Рождество в этой долине тихо, особенно когда наступает вечер. Я снизу заглянул ему в глаза. Он слегка улыбнулся мне, но лицо было грустное, чужое. И опять я почувствовал — тут еще что-то есть, но глаза говорили, что он передумал, больше он ничего не скажет.

Мы еще постояли, мы смотрели на эту траву, волнившуюся под призраком ветра, хотя был безветренный день. Интересно, что же творится тут в феврале, ноябре, декабре, когда раздаются крики. Я прошел еще чуть-чуть, поближе к заколдованному полю.

— Стой, — сказал папа. — Дальше не надо идти.

Я остановился. Мне хотелось идти дальше. Я оглянулся — он стоял, ждал, щурился на солнце. Лайем стоял между нами. Чайка села рядом на скалу. Мне хотелось дойти до гребня. Я сделал еще несколько шагов. Склон был круче, чем я

думал. Папа ничего не сказал. Лайем вернулся к нему, сел среди лютиков.

А вдруг, я подумал, душа Эдди там плачет по родным покинутым полям? Спросить? Я не спросил. К гребню идти расхотелось. И я вернулся к папе и спросил, слышал ли он сам эти крики. Нет. А хотел бы? Нет. А ты можешь узнать среди всех крик того, кого ты потерял? Неизвестно. Едва ли. Он уже шагал обратно к калитке. А когда он в первый раз узнал про это поле? Забыл когда. Мне стало обидно. Он меня отшил. Привел нас, а сам уходит и ничего не собирается объяснять.

— А я не верю, — сказал я. — По-моему, все это сказки.

— Конечно, — сказал он сухо.

— Так я и поверил! Птицы пропадают! Вот смотри, там птица, чайка, прямо-прямо над этим полем.

Я показал на нее пальцем, но чайка уже кружила прочь и криком прочерчивала кривую полета.

Вернувшись к дороге, мы оглянулись на поле. Оно сейчас было совсем обыкновенное. Там, где оно кончалось, стеной поднимались скалы. Но вот солнце стрельнуло в волны, и я, ей-богу, увидел кого-то, он стоял у обрыва и разглядывал

тихо шуршащую пену. Я снова взглянул — никого. Я сбежал с пригорка и бросился через дорогу туда, где Лайем, нещадно кромсая, выстругивал ножичком посошок Папа ушел вперед, он очень быстро шел. Я хотел помочь Лайему держать ветку прямо, пока он срезает сучья. Он свирепо на меня посмотрел.

— Отсохни! Лучше его догони.

И я побежал, но, как во сне, он не делался ближе, и я сдался, я застрял между ними, Лайем строгал свой посошок и смотрел на меня, и папина спина удалялась, и он подходил к повороту, и крики чаек, жалобные, сердитые, у меня звенели в ушах.

Грианан
Сентябрь 1950 г

Большое каменное кольцо — вот что такое Грианан, и стертые ступени изнутри ведут к парапету, откуда с одной стороны открывается зелень холмов, а с другой — прибрежный песок залива. Под одной из внутренних стен был тайный ход, тесный и черный, когда лезешь по нему на карачках, и вдруг он светлел в конце, где стоял стул желаний из каменных плит. Надо сесть на этот стул, закрыв глаза, и загадать самое

главное свое желание под сонные вздохи спящих воинов легендарного Финна Маккумхайла[4]. Они поджидают того, кто загадает такое желание, которое разбудит их наконец от тысячелетнего сна, чтоб они дали последний бой англичанам и навеки изгнали их с ирландских родных берегов. Это будет отмеченный человек, возможно, я полагал, с волшебными глазами — один зеленый, другой карий, — или кто-то с целью жестокой и тайной, как его запрятанный пистолет, кто-то, действующий лишь тогда, когда может увлечь за собой весь мир. Я замирал от ужаса, как бы мне случайно не загадать то самое желание, и земля тогда вздыбится подо мной, и, смутные за вполне явственными топорами и копьями, из тьмы поднимутся мертвые лица.

Мы с Лайемом проводили тут большую часть летних каникул.

Если нас было много, мы разбивались на группы и бегали наперегонки наверх, к форту. Победители защищались от проигравших, бешено бились на парапете, взбирались по стенам, и наши крики тонули в скалах и заповедном вереске.

Как-то раз мои друзья — Моран, Харкин, То-

---

[4] notes: 4
Вождь фениев (финнов), отец барда Оссиана.

ланд — заперли меня в тайном ходе. Сначала я, в общем, не беспокоился, сидел себе на каменном стуле. Постепенно темный лаз, по которому я прополз, утратил свою туманную круглость и стал одной пустой тьмой. Я сидел и мерз, хотя снаружи был зной и в жарких струях над фортом, дрожа, заливались жаворонки. Я щупал мокрые стены, и по их твердости сползала медленно мерзкая слизь. Даже здесь я брезгливо отдергивал руку от сморщенного мокрого мха. Был бы я сейчас на круглом парапете, я видел бы остров Инч, широкие плоские устья по темному глинозему, слышал бы дальний воинственный шум сердитого моря. Но здесь, в тесноте тайного хода, кончавшегося этим стулом, — здесь были только больные хрипы простуженного пространства да шелест воды, дробящейся об острые скалы. Мне казалось, что я различаю дыхание воинов Фианны, ждущих, когда их пробудит трубный клич, чтобы биться в последней битве, которая, по пророчеству святого Колумкилла, произойдет именно тут, где-то между Страбаном и Дерри, и последний английский корабль отчалит тогда от пристани Фойла и покинет навеки ирландские воды. Если еще побольше сосредоточиться, можно почуять запах друидских чар, услышать,

как стонут женщины среди любовных утех: «О! О! О!» И если загадать желание, любовное желанье особенно, — всю жизнь будешь нравиться женщинам.

Да, друзья постарались. Я сидел на стуле желаний и пытался еще больше сосредоточиться на оскудевших призрачных звуках, когда лаз окончательно потемнел. Я услышал, как камень, проскрежетав, запер меня. Я заорал, но они хохотали и носились по ступеням над моей головой. Изнутри камень нельзя было сдвинуть — слишком узко, не развернуться. Оставалось сидеть и ждать. Я кричал, но мой голос стихал, отскакивая от стен. Никогда я не думал, что бывает так черно. Я слышал ветер — или это далекое море. Это было дыхание Фианны. Я чуял дух вереска и утесника; чары друидов. Я слышал шепот подземных вод; женские вздохи. Холод пронимал меня до костей; камень обжигал холодом.

Вдруг что-то шуркало, как полевая мышь; или это шуршали известковые капли. Я подползал к выходу, снова кричал. Наконец кто-то пришел, отвалил камень, я вышел на солнце, слепой от света, валкий, будто вся моя кровь отлила к лодыжкам. Потом, когда мы снова забрались на парапет и слезли по стене на ведущую к дому до-

рогу, небо было такое большое, и такие высокие были горы, что та дыра показалась еще холодней, тесней и страшней.

Мы перешли границу шириной в поле и подходили к дороге, когда, сверкнув из-за поворота, нас чуть не выхватили автомобильные фары. Мы нырнули в шпалерную тьму. «Выдры, — сказал Брендан Моран. Это была кличка таможенников. — Контрабанду вынюхивают. Мой папа рассказывал, одного такого контрабандисты ночью сцапали у Грианана, сорвали мундир и заперли в тайный ход. Только через два дня его нашли, совсем был готовенький, ополоумел, когда вытащили.

Так в психушке в Гранте и сидит, вечно, говорят, мерзнет. До сих пор не согрелся. Теперь уже не согреется».

Мы одолели последний подъем, и под нами лежал в мишуре фонарей город. Мы так устали, что не было сил разговаривать, мы как будто падали, падали на золотую сетку улиц в ночное теплое бабье лето.

Рассказ Кэти

Октябрь 1950 г

Вся наша территория — вот она: с одного холма старый форт Грианан глядит на залив Фойл, на другом холме смотрит па залив Суилли ферма вражды, а между ними полуостров Инишховен, и Дерри плывет в тумане за Фойлом, а дальше вьется граница. Мы уходили с утра к Донеголу и к шести возвращались в город, как раз когда девчонки и женщины со швейной фабрики шли по домам под ручку, куда нарядней и говорливей мужчин, торчавших по перекресткам. Мы их задирали, они не желали вступать в разговоры с мелюзгой.

— Отвезите его домой в колясочке, ой, не могу! Мамочка заждалась!

— Отвяжись, карапуз! Где твой слюнявчик?

Мы в беспорядке отступали. Те, кто постарше, вспрыгнув на ходу в грузовик, повиснув на задней подножке автобуса, проносились мимо, свистали, выкрикивали имена девушек, имена ухажеров. Женщины скрывались в домах, и наступала вдруг пустота, воздух скудел, оголялся, куда-то девалась веселость. Дымы фабричных труб даже летом стояли в небе, и когда один загорался, сноп пламени развлекал глаз.

Кэти, мамина сестра, работала на этой фабрике Тилли и Хендерсона швеей. Она рано вышла замуж, раньше мамы. Ее единственной дочке Мейв было уже двадцать, она работала в газетном киоске. Муж Кэти, отец Мейв, исчез еще до рождения Мейв, Кэти была на первых месяцах беременности. Про это у нас особенно не говорили. Звали его Тони Макилени. Он уехал в Америку в 1926 году, вроде искать работу, разок-другой написал — и все. Ни с того ни с сего снялся с места; говорили, будто подался в Чикаго, там женился, народил детей, стал уважаемым человеком. А дочь собственную ни разу не навестил, даже ей не писал. Странно. Кэти никогда о нем не говорила. Как-то Лайем спросил про него у мамы, но она тряхнула его за плечо и велела больше не поминать в нашем доме это имя. «О Господи, — сказал тогда Лайем, — спросите и будет вам. О Господи»[5].

Кэти, в общем, была нам вроде второй матери. Я хотел, помнится, чтоб она почаще оставалась с нами, а родители бы вместе ходили в кино. Но они не ходили. Вообще никуда вместе не ходили — правда, куда им особенно было ходить, разве что в гости, на посиделки, как они это называли.

---

[5] notes: 5
Ср. Евангелие от Иоанна, 15,7.

А раньше они ходили? Я спрашивал Эйлис и Лайема, потому что они старше. Но они тоже такого не помнили. Чего удивительного? Им хорошо друг с дружкой. Все женатые люди так живут, сказала Эйлис. Да. Но мне все равно хотелось, чтоб они куда-то вместе пошли. Денег стоит, сказал Лайем. А у них нету. Вот почему.

Кэти не приходилось приглядывать за своими детьми, дочь уже выросла, и она была посвободней; даже на работу не ходила. Швейная фабрика за Крэйгевонским мостом поувольняла десятки женщин, когда началась безработица. О фабрике она уже и не думала. И стала чаще ходить к нам, отпускала маму наверх поспать, а сама возилась на кухне. Я замечал, что она все делает по-другому. Тратит больше угля, и огонь у нее ярче; ставит на плиту сковородку ручкой влево, а не вправо. Садится спиной к окну. Мама всегда лицом. «Ну вот, — она говорила, покончив с очередным делом. — Ну вот». Когда посылала меня в магазин, всегда путала, сколько чего купить.

— Господи, ну зачем четыре буханки? Одной хватит.

— Ты привыкла на двоих покупать, Кэти. А нас восемь человек.

— Да, — говорила она. — На двоих, только на

двоих. Что правда, то правда.

Когда мы были поменьше, она нам рассказывала на ночь разные истории: про добрых и злых фей; или про матерей, у которых фея отбирает детишек, но всегда возвращает; про дома с привидениями; про мужей, избежавших опасности и воротившихся к жене и детям; про украденное золото; про несчастных богачей и про их чудных деток; про то, как, претерпев угрозы злых квартирных хозяев и полицейских, люди живут-поживают и добра наживают; про святых, которых жгут заживо на костре, а им хоть бы что; про бесов, хитрых и льстивых, которые ходят франтами и говорят как тонкие господа. И так она ловко умела разговаривать на разные голоса, что мы не страдали от полной почти непроходимости лабиринтом ветвящегося сюжета. Но мы подросли, и все это кончилось. Зато пошли другие истории — внизу, на кухне, если ее упросить и если нет рядом наших родителей. Их присутствие, я замечал, всегда было цензурой для творчества Кэти.

— Была одна молодая женщина, Бриджит Маклоклин, — рассказывала она нам с Эйлис как-то вечером, когда мы вместе покончили с большой стиркой и уселись на кухне, Кэти — в кресле,

спиной к окну, пристроив ноги на груде подушек. Мама спала наверху. — Надо вам сказать, меня тогда еще на свете не было. Я это слышала от матери вашего двоюродного дедушки Константина, царствие небесное им обоим. — Она задумалась. Мы боялись дохнуть. Она всегда так рассказывала. Если ее тормошить, она заторопится, скомкает повествование и вся прелесть улетучится.

— И вот нанялась эта Бриджит — нет, не на какой-то там толкучке посреди города, где нанимают молодых девушек и парней для зимней работы в захолустье, — снарядилась она по личному уговору присматривать за двумя ребятишками, двумя сиротками, мальчиком и девочкой, которые жили в южной части Донегола, где до сих пор говорят на таком старинном ирландском, что порой и разырландцу не разобрать. Но Бриджит сама там росла, покуда не перебралась сюда, в Дерри, и язык ей был как раз не помеха. Ну и вот, значит, дядюшка этих детей снарядился в чужие края и хотел, чтобы кто-то за ними приглядел и поучил их уму-разуму. А надо вам сказать, была у этих детей одна странность: их имена. Мальчика звали Фрэнсис, а девочку Фрэнсес. Даже ирландец на слух не различит, только если на бумаге напишешь. Никто не знает, почему родителям

вздумалось их так окрестить. Самих-то родителей унесла холера во время Великого Голода, хоть были они люди не бедные и никогда не голодали. Ну и вот, значит, эту молодую женщину — Бриджит — послали за ними приглядывать.

В доме своего отца она подписывает контракт на год. И по этому контракту она обязуется весь год не спускать с детей глаз и ни под каким видом их не отпускать из дому. Все, что понадобится, пообещал дядюшка, ей будут поставлять торговцы из ближней деревни. И поехала она на эту большую ферму, туда, не знаю куда, присматривать за Фрэнсес, девочкой, ей было девять, и Фрэнсисом, мальчиком, которому было семь лет.

Первые несколько месяцев она исправно писала отцу, и все шло как будто благополучно. А потом писем вовсе не стало. И только когда уже все было кончено, люди догадались, что к чему.

Дети были красивые, особенно девочка. Она была темная, мальчик светлый. Говорили поирландски. Бриджит учила их всему, что знала сама, по два часа каждое утро и по часу после обеда. Но у них был один уговор, они сказали Бриджит, и они поклялись друг дружке никогда его не нарушать: каждый день они ходят на поле за домом, где похоронены родители, кладут на

могилку цветы и сидят там, сидят. И они попросили Бриджит отпускать их туда одних, а она может смотреть на них из окошка. Так Бриджит и делала. И все было у них лучше некуда. Но время шло, кончилось лето, и Бриджит стала их строже удерживать дома, когда начались дожди и настали холода. Но дети не слушались. И вот в один чересчур уж ненастный день, когда лил проливной дождь и выл ветер, она их не пустила. Ни за что. Они упрямились. В конце концов она им велела идти по своим комнатам и сказала, что с нее хватит. Можно ходить на могилку родителей в приличное время, а она не потерпит того, чтоб их свалила простуда, да и сами родители ее за это бы не поблагодарили, а их тоже по головке бы не погладили. После страшной ссоры — а раньше она всегда с ними ладила — дети ушли к себе в комнаты, и немного погодя, когда стемнело, Бриджит тоже легла спать. Ну вот, а дальше — вы прямо не поверите! Но это святая истинная правда. Наутро входит она к ним и что же видит? Волосы у мальчика темные, какие были раньше у сестры, а у девочки светлые, как были раньше у брата. И главное, им самим невдомек! Мол, так и было всегда, мол, все-то она сочиняет. Вы только подумайте! Бедная Бриджит! Она испугалась,

подумала, что сходит с ума. Уж как она их осматривала, расспрашивала, грозилась оставить без сладкого, покуда не скажут правду. Но они смотрели ей честно в глаза и убеждали ее, что она перепутала. Ладно, Бриджит говорит, мы еще посмотрим, кто сочиняет! Пойдемте в деревню.

Пойдемте к священнику. Да у первого встречного спросим. Дети согласились, и они пошли к священнику; и он оказался дома, и они сидели в гостиной, ожидая его. Бриджит сядет, вскочит, снова сядет, а дети чинно-благородно, как всегда, сидели напротив нее на прямых стульях, спокойные и уверенные, как взрослые люди. Священник вошел, Бриджит сразу к нему: «Отец! Отец! Ради всего святого, поглядите на этих детей, Фрэнсиса и Фрэнсес, и растолкуйте мне, что творится, потому что сама я боюсь, уж не попались ли они в лапы к дьяволу!» А священник удивился ужасно, поглядел на нее, поглядел на детей, схватил ее за руку, усадил, покачал головой и спрашивает, почему она говорит такое; и попросил рассказать все сначала, медленно, по порядку. Да дети, дети же, кричит она, гляньте на этих детей, их подменили, им масть поменяли! Гляньте! И сама показывает на них, а они преспокойно смотрят на нее, на священника, такие же, как всегда: девочка темная,

мальчик светлый. Мы же ей объясняем, говорят, мы всегда такие были, а она говорит, мы стали другие, так нас напугала! И плачут оба, а Бриджит голосит, а священник мечется между ними, как кот ошпаренный, насилу-то он их урезонил.

Бедная Бриджит! Священник, ей показалось, подумал, что она не в себе, и дети так рьяно доказывали свою правоту, что она даже засомневалась. Потом особенно, когда проходил день за днем, а дети оставались такие же, и во все эти дни, во всякую погоду Бриджит их отпускала на могилку родителей и следила за ними из верхнего окошка, и все было хорошо. Но по ночам она ворочалась без сна, потому что она знала, знала, знала, что она не ошиблась. Она ясно помнила, как их проверяла, перебирала им волосы, видела, что кожа у мальчика чуть посмуглела, кожа девочки стала белой и розовой, какая прежде была у брата. Она знала, что это ей не помстилось, а вот поди ж ты! Она лежала в постели, тискала четки, твердила молитвы, и то и дело ее трясло от слез, потому что она понимала: либо она спятила, либо что-то очень уж странное водится в этом доме и что-то очень уж страшное нависло над этими детьми. Из-за такой своей бессонницы она часто ходила по комнате и нет-нет отдернет занавеску,

глянет наружу. Налево лежало поле, где была та могилка. И вот — еще неделя не минула, как они ходили к священнику, — выглядывает она ночью из окна и что же видит: зеленый свет сияет над могилкой, и в этом свете она видит детей, они стоят держась за руки и смотрят, смотрят в землю, и оттуда аж бьет этот свет. От ужаса она хочет крикнуть и не может; хочет бежать, а ее пригвоздило к месту; хочет плакать, а глаза у ней пересохли, как у покойницы. Сколько она так простояла, она и сама не помнила, но вот пересилила себя, сдвинулась, бросилась за дверь и стала их звать — Фрэнсис, Фрэнсес, Фрэнсис, Фрэнсес, — бежит по коридору и кричит. И вдруг слышит, они ее зовут из своих комнат, входит и видит: дети лежат перепуганные, сухие и теплые, с сонными глазками. Она их увела в свою спальню, уложила в свою постель, опрыскала святой водою, велела читать молитвы, утешила, убаюкала, сама подошла к окну, выглянула, а там — темень кромешная, никакого света зеленого, никаких детей у могилки.

Кое-как прошла ночь. Дети спали. Она лежала на постели с ними рядом и обнимала, осторожненько так, чтобы не спугнуть. Но вот они утром проснулись, стали спрашивать, когда будет зав-

трак и что случилось, и тут она так и обомлела. Потому что теперь у них поменялись голоса. У мальчика — голос девочки, а у девочки — голос мальчика. Она заткнула уши. Зажмурила глаза. И вдруг, она рассказывала, она успокоилась.

Поняла, что ей надо проверить. И повела детей в ванную — помыться перед едой. Помогла им раздеться, хоть всегда они раздевались сами. Так оно и оказалось! Мальчик стал девочкой, девочка — мальчиком. А им, главное, и невдомек! Помылись себе и ни слова не сказали. Она накормила их завтраком, она учила с ними уроки, она их отправила гулять под яблонями в саду.

Она поняла, она рассказывала, что, если повести их к священнику или к доктору, снова выйдет то же: опять они поменяются и выставят ее сумасшедшей дурой. И еще она поняла, что, если уехать сейчас из этого дома — да и как уедешь, и не на чем, и кто их повезет аж до самого Дерри, а других она мест никаких и придумать не могла, — случится ужасное. Она поняла, что адские силы ей бросили вызов и что-то такое там, в этой могилке, у нее отнимает детей. Ах, все она поняла, хоть сама не знала, как ее осенило. Сомнений у нее не было никаких.

Кэти надолго умолкла. Тикали часы на камине.

Эйлис наклонилась на стуле, волосы ей падали на лицо. Я пытался заглянуть в висячее зеркальце для бритья, проверить, по-прежнему ли у меня темные волосы. Кэти все сидела в задумчивости. Трещал уголь, шипело синее тонкое пламя. Сверху не раздавалось ни звука.

— Есть такие семьи, — сказала нам Кэти, — которые преследует дьявол. Взять эту Бриджит Маклоклин, да? Она ведь родня бедняге Ларри там на углу, у которого отнялся язык, потому что он увидел дьявола накануне своей свадьбы. Помните эту историю?

Эйлис помнила. Она кивнула. Я не помнил. Но я хотел, чтоб Кэти дальше рассказывала, и я тоже кивнул. Она продолжала:

— Этого проклятья семье никогда не стряхнуть. Может, когда-то в истории этой семьи что-то случилось ужасное, какое-то ужасное преступление, и оно отзывается, отзывается из рода в род, как крик отзывается в туннеле, в тайном ходе в стенах Грианана, вечным, вечным эхом. Это эхо заперто там навсегда.

При слове «Грианан» я сжался. Захотел, сам не знаю почему, чтоб она умолкла, но она продолжала. Хоть бы уж мама скорей спустилась, кто-то еще вошел бы, только б она умолкла. Но куда-то

они подевались. Через час выйдут с фабрики девушки, все оживет, Кэти засуетится, собирая ужин, я буду скрести разделочный стол, Эйлис загремит ножами и вилками. Явятся Лайем, Дейрдре, Джерард, Эймон, вернется папа, спустится мама, все наперебой заговорят, включат радио — слушать новости.

— Ну и вот, значит, — продолжала Кэти, кругами водя по широкому доброму лицу как бы умывающей рукой, — бедной девушке некуда было деваться, и она сидела в этом страшном доме с двумя странными детьми, которые все менялись у нее на глазах. Она записывала в тетрадку эти их превращения: из мальчика в девочку, потом обратно. Одни превращения были заметные, другие не очень. Вдруг, например, переменится у них цвет глаз. У девочки делаются синие, это при темных-то волосах и смуглой коже, а у мальчика карие. А то менялся рост. Девочка, в общем, была чуть повыше, а тут вдруг станет ростом с мальчика, а он — с нее. Однажды, она божилась, они поменялись зубами. У девочки стала его улыбка, а у него — сестрина. Или менялись у них руки. И тридцать два дня подряд она видела все эти перемены. Дети спали у нее в комнате, и семь ночей из тридцати двух она видела зеленый свет над

могилкой; и дети там стояли, держась за руки, хотя крепко спали в то же самое время у нее в постели. А на дворе давно уж стоял ноябрь месяц. Она жила как на горячих угольях, но крепилась изо всех сил. Кто ни придет в дом — священник ли, доктор или торговец, — дети всегда такие, как им положено. И как она ни приглядывалась, ни разу она не выследила тот миг, когда происходили эти самые их превращения. Ну а потом вдруг дело стало совсем худо.

Она чесала волосы Фрэнсес перед большим стоячим зеркалом, которое можно поворачивать так и сяк. Было оно забрано деревянной рамой из двух, она говорила, разных сортов дерева, одно дерево звалось явором, сикомором, а другое было красное дерево. Ей бы невдомек, да дети научили. Они все знали про каждую мелочь в доме, каждый стул, каждую чашечку, ложечку, каждый ковер или часы. Знали, кому, когда, на какой срок и за какие деньги сдали в аренду землю под выгон и на каких полях какая растет трава, все-все они знали!

Ну и вот, значит, Бриджит совсем уж расчесала девочке волосы, решила разок-другой напоследок пройтись щеткой и вдруг видит: стоит она сама, в одной руке держит щетку, а другую подняла, буд-

то тоже что-то держит. А девочки в зеркале нет как нет, хотя Бриджит сама до нее дотрагивается и своей рукой держит ее прядь. Стоит она, обмерла, хочет упасть, сквозь землю провалиться, но всю волю свою собрала, стоит. Мальчик был тут же, подошел, торопит ее, скорей, мол, ему в сад поиграть хочется. Вошел в зеркальную раму — и тоже пропал. Она им говорит: смотрите, — они смотрят; она спрашивает: видите себя? Они отвечают: как же, конечно видим, и сами смеются, но невесело как-то. И тебя, говорят, тоже видим. И в этот самый миг начали бить напольные часы в коридоре и выбили десять ударов. Она запомнила. Она сосчитала. Было десять часов утра двадцать первого ноября. И часы эти стали как мертвые. И с тех пор никогда уж не шли.

Ну и вот, тогда-то она не знала, но в этот самый день и час пять лет назад, оказывается, умерли их родители. Умерли вместе, сразу. Она уж потом узнала. И с тех самых пор дети перестали бегать каждый день на могилку. И перестали меняться. И тогда Бриджит поняла, она говорила, что двое из той могилы вошли наконец в свой дом. Она побежала к священнику, попросила прийти, освятить дом.

Он пришел. Обошел весь дом с дароносицей

и латинской молитвой, окропил святой водой каждый угол, все ходы-выходы. А потом спрашивает у Бриджит, почему она завесила все зеркала. Она ему рассказала. И тогда он велел привести детей, поставил их перед тем большим зеркалом в спальне, снял с него бархатное покрывало, которое Бриджит повесила. И они в нем отобразились честь честью! С этим надо что-то делать, сказал священник, надо написать дядюшке. А покамест он пришлет доктора ее осмотреть и будет иногда отпускать свою экономку ей на подмогу. Да и январь не за горами, а там дядюшка приедет и отпустит ее домой.

Но когда Бриджит снова, никуда не денешься, осталась одна, она снова стала чувствовать в доме присутствие тех мертвых родителей; в доме похолодало, и часто она видела, как зеленый свет то сквозит под дверью одной из запертых детских спален, то исчезает в конце коридора, то пушистой тоненькой черточкой тает в окне, когда она входит в комнату.

И вот однажды ночью, она рассказывала, они пришли за детьми. Фрэнсис и Фрэнсес, как всегда, лежали у ней в постели. Они лежали без сна, и вдруг девочка затянула песню, которой Бриджит в жизни не слыхивала — не на ирландском,

не на английском, не на латыни, — и мальчик подтянул. Бриджит стояла с распятьем в руке, молилась, молилась, а у самой по спине бежали мурашки. Лежат перед ней эти дети, она рассказывала, поют свою заунывную песню, и все их превращения, какие она видела прежде, одно за другим, быстрей, быстрей, идут у нее на глазах, так что скоро уже нельзя различить, кто из них мальчик, кто девочка.

Весь дом загудел, будто от тяжкого топота многих ног по деревянным ступеням. И зеленый свет вошел в комнату, и всю ее затопил, и с ним вместе вошел шепот, мужской и женский шепот, бешеный, злобный, будто они брызжут от злобы слюной, только был этот шепот сухой, как взвихренный ветром столб пыли. Дети умолкли, приподнялись на постели, и у них застыли глаза, рты открывались без звука и ручки тянулись к Бриджит. Она их обнимала, распятье уронила на постель, она чувствовала, она говорила, их ручки, плечики у себя под руками, она их трогала, ласкала, и тут зеленый свет исчез, смолк шепот, и дети пропали. Только теплая постель осталась да вмятины на подушках, и свистел за окном ветер.

Она среди ночи вытащила священника из постели, и он бежал за нею, он на ходу застегивал

длинную сутану и приговаривал, что нельзя было оставлять детей одних, что это последняя капля, что пора уж ей восвояси. Но когда они пришли в пустой дом, весь его обыскали и детей не нашли, он стал обвинять ее в том, что она их прикончила, и сейчас, мол, он скажет доктору, у того есть пони с двуколкой, пусть едет в город за полицией. Ах, святой отец, она сказала, конечно, конечно, поступайте как знаете. Только сперва пойдемте со мной. И она его повела к могилке, и там они увидели оба, как из земли клубился зеленый свет, и звонкие, как песня жаворонка, летели из этого света детские голоса, и они пели, пели свою непонятную песню. Священник перекрестился и упал на колени, Бриджит тоже, и так стояли они на коленях под дождем и ветром до самого рассвета, когда зеленый свет погас и умолкли детские голоса.

Больше этих детей никто никогда не видел.

Все зеркала в доме разбились, все часы остановились в десять часов утра, и только детские одежки говорили о том, что когда-то они здесь были. Бог знает, что подумал их дядюшка, когда он вернулся. Бриджит забрали домой, дядюшка приехал с ней повидаться, и она ему все рассказала, она всем рассказывала, кто не ленился

слушать, с полгода, наверно, после того, как воротилась домой, а потом она сделалась сама не своя, и люди стали креститься и убегали прочь, как только ее завидят.

И Бриджит совсем перестала говорить. До самой своей смерти она не говорила больше ни слова, никогда не выходила из комнаты, даже близко не подходила к зеркалу. Только раз в году, двадцать первого ноября, можно было услышать, как она наверху, у себя в комнате, поет песню, и никто, никто не понимал в этой песне ни слова, и никто никогда ничего не слышал подобного, и, наверно, эту самую песню пели дети той ночью, давным-давно, на юге Донегола, через пять лет всего после Великого Голода. И до самого нынешнего дня над той семьей тяготеет проклятье.

Наконец-то наверху задвигалась мама, зазвонили к вечерне, пестрые звуки наружного мира хлынули в комнату, и Кэти перекрестилась, усмехнулась чему-то, покачала головой и велела мне тащить теплую воду и щетку — мыть стол. Эйлис наклонилась на стуле, и на затененное лицо упали светлые пряди.

Часть вторая

Глава третья

Крысы
Ноябрь 1950 г

Зимой 1947 года снег засыпал бомбоубежища па заднем поле. В войну никто никогда этими убежищами не пользовался, даже после бомбежки Белфаста. Когда стали прибывать полчища американцев, поговаривали, что теперь нам каюк. Но немцы налетели всего один раз, побросали бомбы на доки, где по три — по четыре выстроились американские суда, промазали и больше не заявлялись. Сирены, и прежде, бывало, стонавшие по ложной тревоге, от наплыва самолетного грохота подняли надсадный вой.

Мы проснулись от их диких воплей, были унесены под лестницу и мирно подремывали, прижавшись к родителям, в ярких каплях снятой воды, которой пас любила на всякий случай попрыскать мама. Помню сменявшую грохот тишину, долгие жалобы каждого самолета при нырке. Стукнули два-три выстрела. Дом плавал в высоких волнах звука. Только когда прозвенел

отбой, папа вспомнил про эти убежища, где нам надлежало спасаться, и засмеялся.

Их было пять, этих убежищ, они стояли в ряд, параллельно улице, по всему пологому откосу поля. Одно, последнее, стояло почти прямо напротив нашей задней калитки. Из красного кирпича, под бетонной плитчатой крышей, они были гулки, как пустые каменные коробки, эти убежища. Наши шаги звенели, гремели голоса. Здесь воняло мочой, дешевым вином, и часто сидели и пили бродяги, распластавшись по стенам, как расстрелянные, со страшными щелками глаз. Как-то я застукал двух оборванцев, мужчину и женщину, боровшихся на полу; чуть не вляпался в эту вонь, вздыбленную мельканием тряпок и голого тела. Я бросился вон, в поле, меня чуть не вырвало. В памяти надолго застряло: он раскачивается на ней, она извивается, медленно, выкинув вверх одну ногу. Я не знал, что я видел, но никому ничего не сказал.

Ранней весной 1950 года убежища снесли, в поле на задах выросли груды битого щебня. Понемножку место приспособили под свалку. Через несколько месяцев встала проблема крыс. Муниципалитет бездействовал, крысы бегали и пищали. Идешь, например, в сарай за углем — а

крыса выскакивает из двери, или она шмыгает за кучу угля, когда его подденешь совком. А потом они стали преспокойно заходить в дома. Надо было их уничтожить в их гнездах среди развалин.

Мужчины вырыли глубокие рвы по обоим концам снесенного ряда и высоко насыпали землю, отрезая крысам путь к спасению.

Потом в рвы накидали всякой дряни, которая может гореть: газеты, клеенку, обрывки линолеума, доски. И все это обрызгали керосином. Нам было поручено собрать окрестных псов. Были мобилизованы колли, борзые, керриблю со своими стальными челюстями, терьеры всяческих пород и брезговавшие породой дворняги. Мы патрулировали развалины, раззадоривали псов, свистели, шлепали их по мордам, оттаскивали на поводках, если они начинали рычать и рваться. Когда собака останавливалась, принюхивалась или лаяла у лаза, мы его забивали камнями или совали туда, навертев на шесты, горящую, пропитанную керосином паклю, а потом пихали бумагу и сено, пока не взовьется густой дым.

Заблокировав лаз, мы ждали, когда из другой дыры полезут дымные перья. И ту дыру тоже блокировали. Скоро все утонуло в дыму. В противогазах, став инопланетными глазастыми

стрекозами, мы натягивали поводки, а собаки нервничали, рвались.

Крысы полезли сперва из глубоких рвов. Взрослые стояли над ними с горящими факелами. Выжидали. Крысы метались в панике, подпрыгивали, как лососи, пытаясь преодолеть насыпь. Вот ров наполнился вопящими, корчащимися телами, туда полетели факелы, керосин взорвался, с обоих концов занялось пламя и над всем рвом сомкнулось свистящим шелковым занавесом. Мы стояли на груде щебня, мы слышали крыс, мы чувствовали, как они шевелятся у нас под ногами. Вот полезли из забитых дыр, склизко-мускулистые, волосато-тощие, и с немыслимой скоростью метались, метались. Мы спустили собак, взяли ветки, клюшки, железные брусья, самодельные копья из двух-трех связанных вместе бамбуковых палок, с одного конца заточенных или с притороченным клинком. Псы хватали крыс зубами, яростно трясли. Кое-кто из крыс спасался в темноте за нашими спинами, мы высылали вдогонку борзых. Швыряли мертвых в пламя; загоняли в него живых палками и копьями, они вертелись, корчились, соскальзывали в полыхающий ров, страшно вопя, выпрыгивали.

Мы начали под вечер. Битва окончилась, когда

стемнело. Мы палками ворошили золу во рву, тыкаясь в дохлые тельца, как вдруг одна дворняжка залаяла, потом заскулила от страха. Из развалин, помраченная дымом, поднималась крыса. Поднималась медленно, постепенно, как змея, — будто частями. «Крысиный царь», — сказал кто-то, и мы на него спустили собак. Он взвизгнул, как поросенок, метнулся прочь, но мы его прижали к стене на одном из задних дворов. Собаки приглядывались в сомненье, лаяли, но не приближались. Крыса встала на задние лапы, хрипя и вопя, открывала красно-серую пасть, выказывала белое брюхо. Мы разозлили одного керриблю, мы его шлепали по носу, мы тыкали ему палкой в бока, и наконец он стал быстро-быстро вертеться и огрызаться. Тут его подняли, бросили на крысу. У него не осталось выбора. Челюсти сомкнулись — раз, второй, и крысиная голова почти отскочила от тела.

Я возвращался домой в клубах дыма, сквозь шумы шутовской тризны по мертвым крысам, которым насыпали курган, под звон клинков, и меня так тошнило, будто вот сейчас вывернет наизнанку. Жуткое поле горело, как преисподняя. Сама ночь помутилась, дым застил свет звезд, и я думал про то, как в глубокой вонючей тьме под

землей пышут местью уцелевшие крысы.

Полоумный Джо
Август 1951 г

Это Полоумный Джо Джонсон меня ввел в зал искусства публичной библиотеки. Его все называли Полоумный Джо. Он вечно слонялся по улицам, заговаривал с первым встречным, с детьми особенно. Мы не очень-то понимали, что он говорит, но нам объясняли, что смеяться над ним грешно; с ним в молодости случилось что-то, и он с тех пор не выздоровел. Чем-то он меня раздражал. Торчал в библиотеке или околачивался возле, сам себе кивал и улыбался, напевал, вертел тросточку, поднимал шляпу перед женщинами — реальными и воображаемыми. У него были чеканные, четкие черты. Медальное лицо маской сидело на большой голове, а сама голова, насаженная на ничтожное тело, колыхалась, как у насекомого. Улыбка сверкала в силу вставной челюсти, речь, как и все остальное, была точная и дезинфицированная — результат безупречной слаженности губ, зубов и кончика языка.

Как-то летним вечером, нагонявшись в футбол на Роузмаунте, я парком прошел в библиотеку

— взять книг на выходные. Библиотекарша, устрашающего вида протестантка, цокала языком, но пропускала меня за деревянный турникет, предварительно осмотрев мои руки, повертев, как вяленую рыбу на прилавке. Громадная — лопающаяся на грудях блузка, выпирающая щитовидка, — она как бы вся вибрировала тайком в шифонно-саржевых доспехах и крутой укладке обесцвеченных волос. Даже на сей раз, когда я был весь потный после футбола, она поджала губы в знак явного неодобрения, но потом улыбнулась и пропустила меня. Чувство долга пало в борьбе с дружелюбием.

Войдя, я двинулся к залу искусства. «Только для взрослых» — черным по белому свидетельствовала надпись на стеклянной двери в раме красного дерева, с резной ручкой. Там Джо, один, переворачивал на пюпитре огромную страницу, и она, сверкнув красками, мгновенной радугой легла ему на руку. Завидя меня, он сразу, быстрым солдатским шагом, двинулся к двери. Я отступил в детскую секцию, схватил первую попавшуюся книгу и притворился, что читаю. Джо, рассиявшись, отобрал у меня книгу, сунул обратно на полку, шепнул:

— Хочешь, кое-что покажу?

И потянул меня за рукав к залу искусства.

— Мне нельзя. Там же для взрослых только.

— Чепуха, полнейшая чепуха. Раз я приглашаю — особого разрешенья не требуется. Мисс Ноулс будет только рада, чтоб воспаленный дикаренок попал под прохладную сень моего благотворного влияния. Верно я говорю, мисс Ноулс?

Он повысил голос, но она почему-то не слышала и не отрывала глаз от внимательно исследуемой картотеки.

— Видал? Дурень. Пошли.

Мы пошли. Он меня провел к той своей книге, распластанной на деревянном пюпитре. Цвета были темные, густые. Я не понимал, как надо смотреть. Очертания спрыгивали со страниц, снова на них свертывались. Взметнув пыльный столб, он захлопнул книгу.

— Нет, это все не то. Начнем с французов. Так-с. Смотри в оба, смотри в оба, юноша, и ничего не говори, ибо что бы ты ни сказал, будет нелепо.

Это было изображение голой женщины. Она лежала на черном бархате, вольно развалившаяся и неподступная. Краски смешались, как запахи.

— Ох, — вырвалось у меня.

— Ох-хо, — фыркнул Джо. — Юный Калибан видит красавицу. Красавица Буше, мой юный

друг, может пробудить тонкие чувства даже в таком обалдуе, как ты.

И — захлопнул книгу.

— А теперь — вон отсюда. Хорошенького понемножку, не то лопнет дикарское сердце. Возвращайся к своей бульварщине. Изыди.

И — повелительный взмах руки. Втаптывая в пол лиственную тень, я прошел за дверь, кивнул мисс Ноулс, растопырил пальцы в знак того, что книг не брал, прошел через лягнувший меня по бедру турникет и, стоя у проволочной ограды, оглядывал деревья, траву и за ними кирпичную швейную фабрику Буше. Я никогда про него не слышал. Я никогда не видел обнаженной натуры. Тело было плотное, но так пропитано светом. Айрин Макай с Буковой, которую я давно обожал и считал красавицей, вдруг совершенно померкла.

Каждую неделю я приходил, но больше не видел той женщины на картине; зато часто заставал Джо, и он даже выходил со мной из библиотеки и прогуливался по парку. Цель его, он говорил, дать мне некоторое образование, какового я столь плачевно лишен, но хоть имею совесть этим тяготиться. Прогулки замыкались обычно спуском с широких ступеней к декоративному пруду, забранному железной оградой. Тут мы стояли, об-

локотясь на ограду, и смотрели на черно-зеленую воду, скользящую под ковром кувшинок. Чаще вода была металлической, но вдруг, когда ударит солнце, теряла свою полированность и чувственно, бархатисто нежнела. Джо наклонялся к моему уху и полушептал, полувыкрикивал дикую мешанину — истории, вопросы, загадки. То он щелкал вставной челюстью, то его почему-то кидало в слезы; по большей же части он свирепо сиял, стучал тростью по ограде или яростно вонзал ее в землю. И без конца качал головой.

— Позволь тебе объяснить, поскольку сам ты не спрашиваешь, что тебя рекомендует с самой выгодной стороны, если только это не уловка, — сказал он однажды, когда мы стояли над прудом, — почему я тебе никогда больше не показываю ту картину. Хочешь знать? Не вынуждай меня зря сотрясать атмосферу.

— Хочу.

— Ты видел ее, эту женщину на картине, э? Видел?

— Да, видел.

— Красивая, ничего не скажешь. Ты ее узнал, э?

— Нет. Откуда же?..

— А вот оттуда. Она ирландка. Мадемуазель

Мерфи. У нее, у нее…

Он меня осиял улыбкой.

— …у нее были связи с французскими королями. Французскими королями, да. Эти мальчики кое в чем знали толк, смею тебя уверить.

И — торжествующий стук трости по ограде.

— О, это было давно, в доброе старое время. Когда Франция была еще Францией. Н-да, красивая, ничего не скажешь. Но она была зла. Ты заметил?

Я затряс головой, заглянул в его старо-юное лицо. Глаза были красные и слезились. Он схватил меня за рукав, притянул к себе. В груди у него клокотало.

— Я знаю одного человека, который знал эту женщину. Да-да, мой юный друг, был с ней в интимных отношениях.

— Интимных? — переспросил я.

— Латынь, идиот, — рык, улыбка. — И чему вас только учат в школе? Интимно. Тесно. Он знал ее плотски.

— Но ведь она, я думал, жила давным-давно, во Франции…

— Ну и что? Художник жил давным-давно, как ты верно изволил заметить. Но она… она была ирландка. Теперь понимаешь?

Загадка. Я молчал. Он вытащил гигантский белый платок, высморкался, крякнул, сунул платок обратно в брючный карман. Кончик выглянул белой мышкой с зеленым заплаканным глазом.

— Есть один человек, которого ты видел, но не замечал, он отсюда недалеко. Это он. Он никогда не говорит. Стоит целыми днями на одном и том же месте, на уличном углу, и смотрит на Блайлейн так, будто впервые в жизни видит.

Я понял, о ком он. Я его замечал. Ларри Маклоклин, родственник той Бриджит из Кэтиного рассказа. Я навострил уши.

— Ну и вот, когда он еще был молодой, за неделю до свадьбы, отправляется он как-то с Блай-лейн к Холму Святого Колодца, или Горе Шерифа. Не странно ли, что эта убогая вересковая кочка имеет сразу два названия? Ты там бывал?

— Да, часто.

На холме за этим холмом стоял Грианан.

— Ну, и какое же название было первоначальным?

— Святой Колодец, наверно. Колодец там раньше был, чем появился шериф.

— Так-с, а кто этот Блай, в честь которого названа Блай-лейн?

— Не знаю.

— А еще мнишь себя здешним жителем. Порадовал, нечего сказать! Ну понятно, что ты не знаешь ее. Естественно для Калибана. Но туда-то, бьюсь об заклад, ты каждое воскресенье таскаешься со своим папашей, под звон этих гнусных колоколов, по улицам, непроходимым от скуки! И даже не соображаешь, куда пришел. Просто носишься как юный жеребчик. И что с тобой будет?

Я пожал плечами и уставился на застывшие кувшинки с тоненькими желтыми усиками, как белые салфеточки приклеенные к воде.

— Кстати. Почему так печально звучит, когда я спрашиваю, что с тобой будет, и ничуть не печально, если я спрошу тебя, кем ты будешь? Неужто козни предлога «с» властны будить в нас печаль?

Вынул из кармана свою белую мышь, утер глаза. Неужели плачет? Мне захотелось смыться, но опять он вцепился в мой рукав.

— Ну так вот, этот человек, назовем его просто Ларри, отправился как-то вечером к той горе под двумя названьями — четыре с половиной мили туда и четыре обратно, если срезать путь, перейдя ручей, что Ларри и сделал, я должен тебе сказать, ибо уже темнело. Был один из месяцебрей, четырех темных месяцев года.

Пруд жестью звякнул под налетевшим ветром.

— Итак, Ларри идет домой. Ты знаешь, конечно, кого я имею в виду, но не будем уточнять. Скромность — украшение добродетели. Ох, до чего же мне не нравится то, что сейчас случится! Не приведи бог переправляться через поток в темноте. Лучше не искушать судьбу. Мир на оставленном берегу совсем не тот, что встретит тебя после переправы. А ты еще что-нибудь знаешь про этот ручей?

— Да. Там проходит граница.

— Ишь ты умный какой. — Он почему-то на секунду обиделся. — Итак, Ларри перешел из одной страны в другую и в сумерки возвращался обратно. Несчастный он человек, не так ли?

— Да что с ним случилось? Его, что ли, застрелили?

— Застрелили. Дерьма-пирога. Интересно, как это он, застреленный, стоял бы сейчас на углу? Я, очевидно, зря сотрясаю атмосферу? Да никого не стреляли в те времена на границе, то-то и беда.

Он гневно вспыхнул, лязгнул фальшивой челюстью, втянул щеки.

— Ну, может, его ранили, а он потом выздоровел. Я же слушаю.

— Логично. Это было возможно. Но этого не

произошло. Продолжаю. Впредь прошу не перебивать.

Он обернулся, глянул вверх, в сторону Роузмаунта.

— На фабрике, я вижу, включен свет. Там, наверно, всегда темно. Окна, подозреваю, в жизни не моют. Можешь ты вообразить, каково это — женщины, женщины, стоят рядами, вертят, щупают, лапают мужские рубашки, воротнички, рукава, манжеты? Не хотел бы я услышать, что они там говорят о телах мужчин, которым суждено эти рубашки носить. Их счастье, что мы это носим, не то сидели бы, суки, без работы. Интересно, хоть руки-то у них чистые, ведь внутрь лезут, наизнанку выворачивают. Интересно, единственный ли это город на свете, где мужчины носят рубашки, заранее изнутри перелапанные женскими руками? А?

Он содрогнулся. Я подумал про то, какие у него самого крошечные рубашки. Женщины бы хохотали над распашонкой в излюбленную его широкую полоску: тюремное оконце на вешалке.

Но что же случилось с Ларри? Джо выдавливал ямки в безответном песке. Мне хотелось удрать, но я знал, что надо остаться.

— Итак, он идет домой, весело покачиваясь

после холостяцкой вечеринки, и потихоньку догорают последние угольки его невинности. Впереди на дороге — женщина. Оборачивается на звук его шагов, медлит и улыбается ему такой улыбкой, от которой у него заходится сердце, ибо такой красавицы он в жизни своей не видывал. И эта красавица спрашивает, не проводит ли он ее в город, потому что она боится темноты. Шагов через десять — двадцать она берет его под руку, скоро к нему прижимается, нашептывает сладкие речи, и вот они уже в поле, и она лежит под ним, и он сдирает с себя рубашку, штаны, и она его тянет на себя, на черную траву и — бах! Она растаяла.

— Как это — растаяла?

— Растаяла, о господи, и он один, будто лежит-выжимается, и запах под ним, как от жженых ирисок, и от паха у него валит дым. А ее нет.

Я хихикнул сконфуженно, не совсем ясно себе представляя, к чему шло дело, и подозревая, что таять в таких случаях полагается, но она, возможно, опередила события. Но — дым, но запах ирисок? Про такое я не слыхал.

Джо налег на трость, тыча ее в гравий; и так вжал подбородок в грудь, что на минуту мне показалось — у него срезана голова.

— Ларри встал, собрал вещи. Кричит, озирается. И видит: у ограды в дальнем конце поля стоит лисица и на него глядит. И не двигается, как статуя. А потом подняла голову и тявкнула.

— Лисица?

— Лисица. Это была она. Он бросился прочь с этого поля, побежал на огни Болотной. И каждые сто или двести шагов появлялась перед ним эта лисица, и только уже почти у первого фонаря она исчезла, и Ларри свободно прошел домой. Он что-то все бормотал. Позвали доктора, уложили Ларри в постель, пришла невеста, пришли родные, соседи, все, послали за священником. Тот выслушал исповедь Ларри и соборовал его. А потом вышел из его комнаты, подошел к невесте, отвел ее в сторонку и сказал, что свадьбе не бывать, и пусть она забудет Ларри, он никогда не женится, не сможет иметь детей, в жизни он не узнает женщины. Вот так. Вот и вся история бедного Ларри.

— И поэтому он никогда ни с кем и не разговаривает, стоит и смотрит на Блай-лейн, где все это было?

— Правильно.

Мы оба умолкли.

— Но этот священник, — отважился я. — Как же

он мог рассказать, что услышал на исповеди?

— Ему не понадобилось. Ларри потом неделями бредил. Все и вышло наружу. Люди сидели вокруг, слушали, крестились и плакали.

Джо прогремел тростью по ограде. Стало почти темно. Огни фабрики светили вовсю; там, наверно, работали сверхурочно. Сияли окна библиотеки.

— Но вы же сказали, кажется, что она была та женщина на картине? И он ее узнал, он всем рассказал, что это мадемуазель Мерфи, да?

Джо на меня смотрел с удивлением.

— Что ты несешь? Какая женщина? Какая картина? Ларри в жизни никаких не видел картин.

— Но ведь вы же сказали, он интимно, тесно, плотски знал эту женщину, женщину французских королей?

— Боже! Ступай, гоняй-ка лучше в свой идиотский футбол. И чтоб я тебя близко не видел к залу искусств, не то буду жаловаться. У тебя грязные мысли. Какая женщина? Плотски знал. Да сам-то ты, что ты-то знаешь, негодяй ты испорченный?

Он стукнул тростью по ограде, я отскочил, он рычал, он чуть совсем не вытолкнул вставную челюсть, и у него запало лицо. Потом он снова втянул зубы, метнулся прочь, обогнул пруд, бро-

сился вверх, к фабрике, вертя трость и бешено разговаривая сам с собой. Тучи в вышине готовили, перекатываясь, грозу. Когда я, перемахнув ступени, бежал мимо сияющих окон библиотеки, уже погромыхивало, и первые веские капли восклицательными знаками метили мне рубашку. Домой я прибежал давно и насквозь промокший.

Математика
Ноябрь 1951 г

Ежеутренне, в десять утра ровно, он врывался в класс, свистя сутаной и пылая, как в гневе, при странно спокойных чертах. Каждому следовало открыть толстый том алгебры на нужной странице и заготовить как можно больше вопросов. Тугие кудри, очки. Он выглядел бы добродушным, если б не эта багровость. Фамилия его была Гилдей.

Сидя за высокой кафедрой, на помосте, он возвышался над классом. Задрав подбородок, прикрыв глаза, выпевал:

— Устный алгебраический счет. Основные правила. Повторение пройденного, во-первых, необходимо для тугоумных и беспамятных, а таких подавляющее большинство, и, во-вторых,

оно служит предостережением для счастливее одаренных, которые, однако, склонны крючкотворно твердить, что им-де не говорили, они-де не знали, что правила неясны. Я ночами не сплю, изобретая для них достойное наказание. И мне это не удается. Недостаток ли моего воображения тому виной или их недосягаемая испорченность? Можешь ты ответить мне на этот вопрос, Макконелог?

— К сожалению, не могу, — ответил Макконелог автоматически. Это был ритуал.

— Твое огорчение трогает. Возможно, та не сознаешь всей значительности вопроса. Харкин, будь любезен, объясни Макконелогу, кто такой крючкотвор.

— Крючкотвор — тот, кто нарушает общественное спокойствие, подкапываясь под основы закона, святой отец.

— Согласен ты с этим исчерпывающим определением, Макконелог?

— Совершенно согласен, святой отец.

— И ты не крючкотвор, Макконелог?

— Нет, святой отец.

— Что ж, проверим истинность твоего утверждения. Возросла ли твоя способность мыслить и числить в результате моих неусыпных забот

по пять раз в неделю сорок минут каждый раз, Макконелог?

— Ни на то, ни на другое не жалуюсь, святой отец.

— Мог бы ты сказать, что Макконелог далеко пойдет, Хини?

— Мог бы, святой отец.

— При каких условиях ты мог бы это сказать, Хини?

— При условиях, заложенных в вопросе, святой отец.

— Ты знаком с этими условиями, Даффи?

— Да, святой отец.

— Как твоя фамилия, Даффи?

— Даффи, святой отец.

— Очень приятно. Итак, основные правила. Здесь, в этом преподобном задачнике, мы имеем сорок простых задачек по алгебре, для каждой из которых имеется один и только один ответ. Здесь, в этом классе, сорок мальчиков. На каждого по задачке. Лестное совпадение. Начнем с Джонсона, дивящего нас своим видом на левом фланге первого ряда. Он даст ответ на номер один не более чем за две секунды. Если он замешкается, ответ будет признан неверным. Макдейд, создание рядом с Джонсоном, решает номер два

и так дальше, по всему зоологическому сборищу, каковое мы, по вежливости своей, именуем классом. Если Макдейд, однако, по зрелом размышлении признает ответ Джонсона на номер один неверным, он, Макдейд, решает номер один заново и дает правильный ответ. Если же лицо рядом с Макдейдом решит, что ответ Джонсона на номер один был правильным, а Макдейд поправил его ошибочно, оно опускает номер два и решает номер три, после чего Макдейд, если он согласен с этим вердиктом, должен перерешить номер два. Равным образом лицо рядом с Макдейдом вольно счесть, что и Джонсон и Макдейд оба решили номер один неверно; в таком случае оно решает номер один заново. И так дальше. По ходу дела варианты множатся, так что, когда мы доберемся до проделки эволюции по фамилии Ирвин в заднем ряду, их разнообразие будет поистине головокружительно. Если задача решена неверно предыдущим учеником непосредственно или задолго до отвечающего, тот, кто заметил ошибку, должен задачу перерешить. За неправильное решение задачи следует всего два удара. За ошибочное исправление правильного ответа положено четыре удара. Если ошибку пропустит весь класс — двойное домашнее задание. Если

класс пропустит больше одной ошибки — домашнее задание множится на количество вечеров, соответственное числу пропущенных ошибок. Если все задачи будут правильно решены, солнце остановится на небесах, а я примусь за преподавание четких и безболезненных дисциплин, как, например, Закон Божий. Итак. Джонсон, начинай.

Джонсон начал:

— Икс равен минус двум. Макдейд подхватил:

— Икс равен трем.

И пошло, очень бойко. Отвечал уже ряд передо мной.

Вдруг Гилдей перебил:

— Ты какой номер решаешь, Харкин?

— Номер тринадцать, святой отец.

— Совершенно справедливо. Ты полагаешь, очевидно, что номер двенадцать решен правильно?

Харкин засомневался:

— Да, святой отец.

— Совершенно верно. Твое умозаключение. Следующий. Всего две секунды.

— Икс равен четырем.

— Какой это номер?

— Двенадцать, святой отец.

— Значит, по-твоему, ответ на него был невер-

ный?

— Да, святой отец.

— Значит, Харкин должен был его решить заново?

— Да, святой отец.

— Харкин?

— По-моему, номер двенадцать был верно решен, святой отец.

— А также и все номера, предшествующие двенадцатому, иначе ты бы какой-то из них перерешил?

— Да, святой отец.

— Следующий. Нет, не ты, Моллой. Ты поправлял Харкина. Убожество рядом с тобой. Оно живое?

— Да, святой отец. — Это был О'Нилл.

— Ну-ну, не будем преувеличивать. Но — отвечай.

— Икс равен пяти, святой отец.

— И это ответ на...?

— На номер тринадцать, святой отец.

— Ага. Значит, Харкин не должен был решать номер тринадцать и не прав, что его решал?

— Нет, он просто решил его неправильно.

— А номер двенадцать, по-твоему, был верно решен?

— Да, святой отец.

— Значит, Моллой не должен был поправлять номер двенадцать?

— Да, святой отец.

— Так почему же ты заново не решил номер двенадцать?

— Он был уже решен правильно, святой отец.

— Но тот, кто отвечал перед тобой, ошибся? Основные правила гласят, что ты должен исправить ошибку предшественника, так?

— Да, святой отец.

— И ты исправил ее?

— Нет, святой отец, но…

— Никаких «но»! Какой номер ты теперь должен делать?

— Номер двенадцать, святой отец.

— Ответ?

— Икс равен четырем.

— Это было исправление Моллоя? Так?

О'Нилл понял, что влип. Он только кивнул.

— Моллой, твой ответ был — четыре, да?

— Да, святой отец.

— Но это было неверно. Так мне сказали. А теперь оказывается, это правильный ответ. Что же это такое? Это математика или это хаос?

Молчание. Улыбка Гилдея.

— Казалось бы, довольно ощутимая разница даже для вас. Даффи, продолжай, распутывай этот клубок.

— Икс равен двум.

— Это какой же номер?

— Номер один, святой отец.

— Ты считаешь, что первый ответ был неправильный?

— Да.

— Да.

— Что?

— Да, сэр.

— Сэр? Сэр? Я что — вдруг преобразился? Вместо столы галстук, вместо сутаны занюханный твидовый костюм?

— Нет, сэр.

— Ты настаиваешь на «сэре»?

— Да, святой отец.

Класс хохотнул, затих.

— Блеск остроумия. Прелестно. Разумеется, он не останется безнаказанным. Но к делу. Первый ответ, ты говоришь, был неправильный. И дальше все продолжалось неправильно, так?

— В известном смысле да, сэр.

— В известном смысле! А-а! Речи крючкотвора.

— С точки зрения основных правил, сэр.

— Так были они нарушены или они не были нарушены?

— Именно в них вкралась ошибка, сэр. Еще до того, как номер один был поправлен, сэр.

— Дивно. Истинное крючкотворство. Ты понимаешь ли, что ты говоришь, Даффи?

— Абсолютно, сэр.

— Хорошо. Начнем сначала. Первый человек, первый ответ.

— Икс равен минус двум.

— Ты остаешься при своем мнении?

— Да, святой отец.

— Значит, Даффи ошибается?

— Да, святой отец.

— И стало быть, шум поднят попусту?

— Да, святой отец.

— Все согласны?

— Да, святой отец! — гул голосов.

— Итак, Даффи. Подсчитай свое наказание. Один неправильный ответ — два удара. Один правильный ответ, «поправленный» тобой по ошибке, — четыре удара. Одиннадцать безупречных, или неоспоримых, ответов, отмененных тобой на том основании, что их не следовало давать, тогда как на самом деле следовало, — сорок четыре удара. Проволочка — шесть ударов.

Злостное крючкотворство — двенадцать ударов. Наглая форма обращения — десять ударов. Остроумие — шесть ударов. Сосчитал?

— Восемьдесят четыре.

— Восемьдесят четыре — чего?

— Восемьдесят четыре удара, сэр.

— Так. Уже легче. Ты умеешь считать, ты обучаешься катехизису, ты скоро получишь урок о том, к чему безмерная самоуверенность приводит тебя и тебе подобных. И это проливает мне на душу — что?

— Бальзам, сэр.

— Наконец-то правильный ответ. Выйди вон.

— Нет, сэр. Я прав. Они ошиблись.

— Ой-ёй-ёй. Ах, скажите. Даффи прав, все остальные ошиблись. Я вижу, надвигаются грозовые тучи. Конец света. Мы все не умеем считать, один Даффи умеет. Харкин, считай снова, на сей раз на доске. Чтоб все видели.

Харкин корябает на доске.

— Что скажешь, Даффи?

— Ничего, сэр.

— Это правильный ответ?

— Да, сэр. Но не к той задаче.

— Не к той задаче? НЕ К ТОЙ ЗАДАЧЕ? Прелестно. Ты превосходишь себя. Объяснись, мы сгораем

от любопытства.

— Я решаю раздел Б, сэр. Все остальные решают раздел А.

— И почему же ты избрал раздел Б, когда все решают раздел А?

— Потому что раздел А мы решали вчера, сэр. Я исходил из того, что вы не хотите, чтоб мы повторяли то, что нам уже известно.

— Кто-нибудь помнит, что мы решали раздел А?

— Да, святой отец, — хор.

— Я задавал раздел Б, Даффи?

— Нет, сэр, но вы не задавали и раздел А.

— Сколько ударов я тебе должен, Даффи?

— Ни одного, сэр.

— Это по-твоему, а по-моему, иначе. Класс — встать. Ничего не делать. Как только замечу кого-то на полезном действии — два удара. Даффи, выйди вон. Классу — домашнее задание удвоено. Даффи — домашнее задание учетверено.

И, набычась, ссутулился над кафедрой. Дверь тихо закрылась за Даффи. Мы смотрели в пространство.

Сержант Берк
Май 1951 г

Они, шестеро, намертво зажали нас с Рори Гриффином. Уилли Барр, их вожак, все облизывал толстым языком угол рта. Он был гораздо нас тяжелей; старше, крепче. Сунул Гриффину в лицо кулак, а между пальцами медяки зажаты. «Понял, — рычит, — чего сейчас нюхнешь. А потом ты», — и кулак в лицо — уже мне. Гриффина будут бить первым, потому что он больше. Барр тычет в прихвостней, объясняет, в каком порядке нас бить. Гриффин от страха весь белый. Я, наверно, тоже. У меня трясутся поджилки, это ужасно, я понимаю, что даже достойной попытки к бегству не смогу сделать. И они так нас зажали. Гриффин от первого же удара оседает с окровавленным ртом. Барр тянет его вверх для нового удара, он плачет. Кто-то кричит: «Легавые». Барр рявкает: «Всем сесть, мы как будто ржем». Меня силком сажают. Шагах в двадцати медленно катит полицейская машина. Заднее окно опущено, оттуда выглядывает полицейский. Это сержанта Берка везут домой от казарм на Леки-роуд. «Вы двое — не двигаться, — предупреждает Барр. — Гриффин, не

оглядываться». Гриффин тихо всхлипывает, разглядывает размазанную кровь на руке. Я смотрю на мускулы Барра, слышу, как звякают у него на ладони медяки. Мне бедро корябает камень, я хватаю его, вскакиваю, изо всех сил запускаю в уже почти проехавшую машину. Рикошетом от багажника он бьет по заднему стеклу. «Полундра!» — кричит Барр, машина, взвыв, разворачивается, все бегут, и Гриффин.

Я остался где был. Не мог сдвинуться. Дрожь в поджилках прошла, но стали ватными ноги. Водитель, молодой полицейский, уже подскочил ко мне, Берк в нескольких шагах наклонялся над дверцей. Полицейский меня схватил за плечо и надел бы наручники, но Берк бросил небрежно: «Не трогай его. Сам подойдет». И я подошел и стоял между ними. Берк обошел машину, остановился сзади, разглядывал окно, щупал царапину на стекле, облупленную краску на багажнике. Как же это ты так, сынок?" — спросил почти ласково. Я не ответил. Хоть я стоял к ним спиной, я знал, что Барр со своей бандой следит за мной с верхнего края поля. "Выруби его, козла!" — крикнули оттуда. Берк глянул в ту сторону. "Хороши дружки у тебя, нечего сказать. Не назовешь, кто такие? А ты, — полицейскому, — бери блокнот, фиксируй".

И взмахнул рукой в их направлении, нагнулся ко мне: "Можешь не беспокоиться, называй не называй, я их каждого знаю как облупленного. Уилли Барр, Шеймас Грин. А ты пиши, пиши. Я ж знаю, сынок, тебе неохота говорить. Я ж понимаю. Ты только кивай, идет?"

Я кивнул. Этого было достаточно Барру.

— Говно собачье! Поносное-доносное! Яблочко от яблони! — орал Барр.

Берк пощелкал языком, открыл заднюю дверцу, почти толкнул меня на черное кожаное сиденье. "Газани, — и уселся рядом со мной. — Весь чай мне нарушили. Поучим-ка мы паренька, прогуляем его домой. Как, сынок?" — "А, пошли вы..." — буркнул я, и водитель свирепо оглянулся. Берк хохотнул, схватил его за плечо. "Ну-ну. Мы не станем бить карапуза, не будем из него делать героя. Ведь ему только того и надо.

Верно, сынок? — И щипнул меня за ногу так, что проступило беглое белое пятно. — Веди тихо-медленно по этой улице, та-ак, до конца и налево". Я видел, как женщины стоят у дверей и переговариваются, как курят мужчины под фонарем на углу. Лица поворачивались вслед машине, лениво всползавшей по крутизне. Берк улыбался мне, помахивал блокнотом. Ничего не

говорил, только смотрел на меня всем красным мясистым лицом.

— Останови-ка, — приказал он, когда мы поравнялись с домом Барра. Вышел, постучался, поговорил с миссис Барр, когда она открыла, ткнул на меня в автомобильном нутре. Она, мимо него, пристально меня разглядывала. Это повторилось через два дома, у двери Грина. Потом у дверей еще двоих из компании, и каждый раз он тыкал в меня, застывшего на заднем сиденье. Потом он сел, мы поехали и остановились уже возле кладбища, у его дома. Он повернулся ко мне:

— Это второй раз ты в полицейской машине, точно?

Я кивнул. Берк дежурил в ту ночь, когда нас обыскивали из-за пистолета и потом допрашивали в казармах.

— Скажи, ну не рисковые мы мужики, что выпустили в прошлый раз твоего папашу? Держать оружие в доме, имея такого братца, а? Как его старший брат Эдди! Ты не удивлялся, не спрашивал его, почему так? А сам-то себя не спрашивал? Не удивлялся? Зато кое-кто небось удивлялся.

Я молчал.

— А теперь вот еще Барр, подонок этот, он думает, что все понимает. Так уж и быть. Скажу тебе.

Ничего Барр не понимает. Больше скажу — папа твой тоже ничего не понимает. Может, лучше маму твою спросить, теперь особенно, когда папаша у нее заболел — не очень-то он, однако, торопился. Но все равно. Кто один раз стукнул — всегда будет стучать. Так людям кажется. А мы еще поглядим, что потом окажется, а? Ну, лады.

Вытолкал меня, помахал рукой. Я перешел Болотную, поплелся к дому. Положение было безвыходное. Мне никто не поверит; даже если узнают все, как было на самом деле, и то будут сомневаться. Из-за Эдди. Берк ведь так сказал? Да. Но нет же. Барр же ничего не понимает, он сказал. Но как это папа не понимает про своего родного брата, а полиция понимает? И мама еще что-то знает другое? Что она знает? Нет, только бежать. В Чикаго? Название стрельнуло в мозгу. Мне на лицо будто надели гипсовую маску, хотя в горле застряли нельющиеся, сухие слезы.

Стукач
Июнь 1951 г

Когда я после этого убежал в первый раз, я добрался до самого трапа парохода Белфаст — Ливерпуль. Тут появился папа с Томом и по-

лицейский в штатском, и меня увезли домой на машине Тома. У меня был шиллинг шесть пенсов в кармане и не было плаща. Лайем удивился ужасно, когда узнал. "Без плаща?" — протянул с недоверием. Во второй раз меня подбросил грузовик, правда только до деревни Фини, всего в двенадцати милях, так что пришлось смириться и тащиться пешком домой, где ждал скандал и ужесточенье режима. После этой второй попытки мне уже не полагалось ходить в библиотеку за книгами. По будням я ходил в школу, по выходным в любую погоду торчал взаперти. Мама мне не давала спуску.

— Ты что — спятил? Пошел к этим тварям! Видно, у тебя ни чести ни совести! Если ты сам такой, нас бы хоть пожалел! Слава богу, хоть мой отец так болен, что не узнает про это, его доконал бы стыд. Внук ходит в полицию!

— Не ходил я в полицию. Я в них камнем запустил.

— Тут это все равно. Одному Господу известно, почему без конца происходят подобные вещи. Проклятье такое, что ли? За что? Что мы сделали?

— Какие подобные вещи?

— Полиция, полиция! Вот какие вещи, дурак

ты несчастный!

Папа снова и снова расспрашивал, что да как говорил сержант Берк. Я ничего ему не сказал про то, что Берк говорил о прошлом допросе, и почему его выпустили, и насчет Эдди и дедушки, и как он намекал, что надо спросить маму. Ну что уж такого страшного, если бы этот Барр мне слегка наподдал? — хотел знать папа. До свадьбы-то заживет. Неужели же я не знаю, что за люди в полиции? Неужели же у меня нет ни смелости, ни смекалки, ни стыда, ни совести? Лицо у него краснело, рыжие волосы подрагивали над ушами, когда он ко мне наклонялся и я на него дышал.

Полиция уже не ходила по домам со своими вопросами. Все это была показуха. Плевать им было на это дело. Только поднимали волну. Вернее, Берк поднимал. Он сам, конечно, во всем разобрался, но решил поразвлечься, силу свою показывал. Я знал, что дело в дедушке, а дедушка недавно совсем заболел, говорили, и года не проживет. Может, его близкая смерть всколыхнула воспоминания в Берке. Но со мной никто не водился. Со мной не хотели играть в футбол. Когда я смотрел на игру и подавал вылетевший с поля мяч, его вытирали об траву, прежде чем бросить из аута.

— Ну, стоял бы я и ждал, когда он мне наподдаст. Что бы я доказал? — спросил я папу.

— Что у тебя есть хоть капля соображенья. Хоть капля смелости.

Тут я не выдержал:

— Смелости? Дать себя отдубасить? Да это глупость одна.

— А как по-твоему? Ты как думал? Пусть все мучаются, только не ты?

Он был прав, но не совсем. Как-то вечером это повторилось. Я слушал по радио сводку о корейской войне, разглядывал карту Кореи в газете, водил пальцем по тридцать девятой параллели и воображал, как американцы отступают по полуострову от северных корейцев и китайцев. Кто-то в тот день его из-за меня оскорбил. Почему я не дал себя вздуть? Зачем надо было, чтоб снова в нашу жизнь влезла полиция? Или одного раза мало? Сперва этот пистолет. Теперь опять. Может, у меня вывих какой? Нет, сказал я ему, это семейный вывих. Полиция влезла в нашу жизнь, когда меня и в помине не было. Чего меня-то ругать, пусть он лучше ругал бы Эдди.

Удар был такой, что у меня потемнело в глазах. Плечо горело, как переломанное.

Я встал, я его ненавидел, и одновременно знал,

что сейчас разревусь от взбухавшей сквозь оторопь невозможной боли.

Я видел, как Лайем закрыл глаза, как перестала резать хлеб мама. Нож так и остался лежать с налипшим на лезвие мякишем. Грустно поник недоотрезанный от буханки ломоть. Она стояла ко мне спиной, я видел, как вздох сбегал по спине, от плеч книзу. Натянулись завязки фартука. Папа смотрел на нее, и лицо у него было грустное, и оно было злое. Он жалел, что меня ударил; он хотел ударить еще. Встал со стула, очень спокойно сказал маме, тронув ей плечо так, будто пушинку снимал:

— Пойду розы немного подрежу. Давно пора.

И вышел в сад. Звякнул засов. Она обернулась. Глаза сверкали и стали от злости светлей.

— Спать. Сейчас же спать.

— Но я еще не ужинал.

— Спать, сию минуту!

Я кинулся наверх.

Розы
Июнь 1951 г

В сарае была мотыга, большая, железная, на смазном древке. Я ее выволок и всадил изо всех

сил в землю возле розового куста. Куст дрогнул, опало несколько лепестков. Я отвел наотлет руку, ударил со всего размаха и на этот раз попал по корням. В третий раз корни треснули, куст качнулся под солнцепеком. Я перевернул мотыгу, ударил сбоку. Куст накренился, и, как рычагом, орудуя мотыгой, я стал его раскачивать. Я подступался то с одной стороны, то с другой, пока он не свалился на сторону, алым блеском окропив всю тропу и развороченную землю.

Я на минутку присел — посмотреть, как розовый стебель рукавом зажимает тля. Считал черные пятна на листьях, щупал пупырышки шипов, сводящихся к такому тонкому острию, что мне его показала только кровавая точка на пальце. Жара была как тошнота. Я оборвал большой лист — и от рывка осыпались лепестки. Я тряхнул куст — они опять запорхали. Я растирал их пальцами, внюхивался в эти атласные лоскутки цвета, но они не пахли. А ведь когда росли, запах ударял в меня сильно и грозно, радарным сигналом тревоги.

Я весь взмок от пота. Осталось еще десять кустов по волнистой, ведущей к калитке тропе и еще пять на солнцепеке у сарая. Выкорчевать все у меня, конечно, не хватило бы сил.

Я опять пошел в сарай, волоком притащил два мешка цемента и, взвихривая белую пыль, продырявил ударом мотыги. Раздвинуть бумагу дальше было уже нетрудно, и я принес лопату и по очереди обсыпал цементом все кусты, бешено колотя их лопатой и каждым ударом вздымая лепестковый, цементный смерч. Только когда увидел, как на земле плоско лежат разорванные мешки, только тогда я опомнился. Жара спадала. До папиного прихода оставалось чуть больше часа. Я схватил пустые мешки, сложил, забросил в сарай, схватил веник и стал сметать лепестки и порошок к корням, торопясь расчистить тропу. Но когда отпустили тошнота и страх, я увидел, как никнут в задушливой пыли обреченные розы, и сдался, и стоял, остолбенев, в тумане, и через этот туман прорвалось: скрип двери, мамин голос, крики и топоток малышей. Все высыпают во двор, зовут меня, и мама стоит за ними и улыбается. Потом все застыли, я мигал сквозь разъедавшую мне глаза пыль. Они появляются снова, снова, как в серии снимков, замирая в разных позах. Мамина рука, прижатая к сердцу. Я иду прямо на нее, мимо нее. Она протягивает руку, хватает меня за голое плечо.

— Ради всего святого, — и слезы текут у нее

по щекам. — Что ты наделал? Что с тобой? Как ты мог?..

— Папу спроси. Он знает.

Я чувствовал такое бешенство, что чуть не проделал все сначала — если б не загнанные глаза маленьких, бросился бы, схватил лопату, мотыгу, бил, бил, колотил бы уже погибшие розы. Вдруг меня стукнуло, что нет Эйлис. Видела сверху, испугалась так, что не может спуститься? А Лайем будет ерошить свои рыжие волосы, таращить глаза, разводить руками. А папа, я думал сквозь мамины уже неотвязные причитанья и стоны, да пошел он, папа. Я злобно прогрохотал вверх по лестнице, сдернул с себя все, нырнул в постель, лежал и ждал. Через несколько минут меня стало трясти, сухое лицо сводила судорога. Потом отпустило, я лежал, смотрел, как вытягиваются на потолке тени, ждал папу.

Той осенью мне предстояло перейти во вторую ступень, и я сладко предвкушал, как буду читать на новых языках — в частности на латыни и по-французски. Я уже прилаживался к прозаическому переводу "Энеиды", но странный английский и путаница имен меня не впускали в смысл. Тут я сообразил, что оставил внизу открытого Вергилия. Закрыл глаза, стал вспоминать

имена: Турн. Нис и Эвриал, сам Эней, Турн, Анхис. Имена вертелись по кругу. Больше не вспоминалось. Я открыл глаза и увидел, что с порога на меня смотрит папа.

Он ничего не говорил. Он смотрел. Вошел в комнату, прикрыл дверь. По животу у меня поползли мурашки, стало липко ногам. Я не хотел на него смотреть, но его глаза держали мой взгляд, и когда он снова двинулся, я повернул за ним голову.

— Так я знаю, да?

Я кивнул.

— Завтра, и послезавтра, и после, и всегда ты у меня будешь знать.

И вышел, стукнув дверью. Я долго так лежал. Все спали внизу. Мертвая тишина. Не слышно голосов. Безумно нужно было пойти в ванную, но я боялся спускаться. Вертясь и мучаясь, я вдруг уснул.

Когда я проснулся, пришлось натянуть трусы и шмыгнуть в ванную через кухню. Было уже совсем поздно. К моему удивлению, папа был дома и мои дядья, мамины братья. Они смолкли, когда я бежал через кухню, и молчали, пока я не ушел наверх. Мамы не было; ушла, наверное, к Кэти за утешением и советом, Кэти жила близко. Я не знал, что мне делать, я опять лег и прислу-

шался к гулу голосов. Потом там задвигались, и был одинокий выкрик, и шаги стихли на заднем дворе. Открывали калитку. Я встал, выглянул в развороченный сад и увидел, как с припаркованного у задней калитки грузовика стаскивают мешки с цементом. Папа и дядья туда вышли, и было буханье, лязг, и они вернулись, волоча раскачивающуюся бетономешалку и ведра. Целый день папа с Томом мешали цемент, а Дэн и Джон заливали двор, и рабочие выдергивали по их ходу розовые кусты, разравнивали землю, забрасывали мертвые кусты в грузовик. К трем дня они управились. Двор серо лоснился весь по одну сторону от сарая и по другую, но ту мне не видно было из окна. Мокрый цемент застлали досками, все за собой убрали и ушли. Это, по-моему, первый раз в жизни папа не пошел на работу.

Я опять спал один. Есть мне не предлагали, а я не просил. Назавтра зацементированная часть сада побелела. Я увидел, как Лайем отдирает доски. Оделся, спустился. Мама отвернулась, когда я вошел, и вышла из кухни. Вошел Лайем, затряс головой, приложил палец к губам. Я проглотил хлеб с маслом, заглотнул чай и собрался бежать. Вошла мама.

— Наверх, — показала пальцем. Я увидел при-

севшего на приемник Вергилия, сгреб и пошел наверх. Когда пришел папа, Джерарда и Эймона послали за мной. Все сидели за столом и молчали. Им было стыдно за меня. Ели молча. Когда кончили, папа, как всегда, стал убирать со стола. Я вскочил, чтоб ему помочь. Он положил руку мне на плечо, вжал меня в стул.

— Никаких вопросов. Больше со мной не разговаривай. И не подходи ко мне, от греха подальше.

Я съежился на стуле. Посуда с грохотом отправилась в раковину. Все смотрели в мою сторону, но не видя, скользя по мне взглядом. Я взбежал наверх, рухнул поперек постели, я бесился, но больше терзался, и, всхлипывая, проклиная себя, незаметно провалился в сон. Уже темнело, когда я проснулся. До меня кто-то дотронулся. Я чуть приоткрыл глаза, глянул на обои, но тут же снова зажмурился, потому что папа наклонился ко мне. Поцеловал мои волосы. Я медленно, от самых пяток, натянулся весь. Не знаю, как я не раскашлялся, как не разревелся; но тут, освободясь от его тяжести, вздохнула постель и подняла меня, как волна. Он думал, я еще сплю. Шепнул про себя что-то — я не разобрал. Дверь закрылась, и лестница знакомыми скрипичными стонами

ответила на его шаги.

На этом дело как бы и кончилось. Двор лежал под цементом.

Одиноко гоняя футбольный мяч, я вдруг видел, как он подпрыгивает на том месте, куда падали розовые лепестки, и снова они летели и пятнали площадку. Ходить по тропе, где раньше они росли, было как топтать раскаленную землю, под которой горели, горели голоса и розы.

Епископ
Август 1951 г

— А теперь ты пойдешь, — сказал Лайем уже через несколько недель, — и все скажешь епископу.

— А как его увидишь, епископа? — спросил я.

— Господи, ну как-как, подходишь к их дому возле собора, звонишь в дверь и спрашиваешь экономку, можно ли увидеть его преосвященство по неотложному, исключительно важному личному делу. Или просишь спросить, когда ему будет удобно назначить встречу.

— А вдруг она скажет — нет?

— Не скажет. Скажет, скорей всего, чтоб зашел попозже, когда она растолкает свое слюнявое

чучело.

— А что потом?

— Суп с котом, идиот несчастный. Потом тебе надо отмыться. Я все продумал. Есть только один способ, чтоб это было наверняка. Нужно, чтоб все увидели, как ты идешь извиняться в полицию вместе со священником и как ты оттуда выходишь опять же с ним вместе. Что в полиции будет — к делу не относится, зато мы начнем распускать слухи про Берка.

— Какие слухи?

— Ох, да сперва обеспечь епископа, — взревел он. — Сперва его туда затащи. А там я тебе объясню.

Епископ Култер протянул руку. Я упал на одно колено и поцеловал кольцо у него на пальце. Он убрал руку, я поднялся и был усажен его мановеньем на стул. Сам он сидел в конце стола, за три пустых стула от меня. Черная сутана, отлично сшитая, очень складно сидела на лиловой рубашке. Рубашка? Как это у них называется? Я постарался сосредоточиться.

— Итак, сын мой, — пропищал он жидким голосом, всегда производившим эффект неожиданности, выходя из этого мешка с мукой, — по какому такому неотложному личному делу тебе

понадобилось меня видеть?

Когда я кончил свой рассказ, он слегка наморщил лоб и посмотрел на меня пристально и, кажется, с недоверием.

— Ты понимаешь ли, что ты виноват, очень, очень виноват?

— Да, ваше преосвященство.

— Полиция должна исполнять свой долг.

— Да, ваше преосвященство.

— И сержант мог бы, видишь ли, разом покончить с твоим образованием, если бы только предъявил свое обвинение. А он не стал. Ты перед ним в долгу.

— Да, ваше преосвященство. Я понимаю.

— В вашем районе, наряду с приличными, добропорядочными католиками, встречаются личности весьма непривлекательного свойства.

Я энергично кивал.

— Что же все-таки привело тебя ко мне? Чего ты от меня ждешь?

— Я вот подумал, ваше преосвященство, может, вы бы посоветовали, как мне получше извиниться перед сержантом Берком?

— Просто — пойди и извинись, сын мой. Можно домой, можно в казарму. Скажи, что ты искренне раскаиваешься. Я его знаю. Он христианин. Он

тебя простит.

— Но дело в том, ваше преосвященство, что, если я просто возьму и к нему пойду, все подумают, что я опять с доносом, что я пошел в полицию людей выдавать. Я только хуже себе напорчу.

— Ну так, может быть, стоит ему написать?

Написать. Как пишут полицейскому? Я еще в жизни не писал писем. Писала мама — и не письма, записки, бакалейщику, в жилищную контору, мол, нельзя ли отсрочить платеж и не благоволят ли пока принять данную сумму? Мне ужасно нравилось это "благоволят", и где она его выкопала? Передавать записку и ждать, пока прочтут, было так куда легче. Язык был лучше, чем у них, но они его признавали. Лайем меж тем обдумал и эту возможность.

— Но я же вел себя так при людях, и тоже при людях хочу извиниться. Я чувствую, что обязан так поступить и ради сержанта, и ради собственной совести.

— Понятно. — Дробь пальцев по столу. Беглое подобье улыбки. — Представления сержанта о справедливости, должен тебе заметить, в рассматриваемом случае не вполне таковы, чтобы я мог назвать их истинно католическими. Так сказать, государственная справедливость. И у

твоей семьи, между прочим, хватало уже неприятностей. Но это материи деликатные, лучше их опустить.

Я кивнул неуверенно.

— Я мог тебя видеть на мессе в последние недели?

— Да, ваше преосвященство. Я каждый день хожу.

— Ты и в школе, кажется, оказываешь отличные успехи.

— Стараюсь, ваше преосвященство.

— Это ведь совсем недавно случилось, не так ли?

Лайем все тщательно предусмотрел.

— Два месяца и неделя, день в день, ваше преосвященство, с того случая с Бер… с сержантом. Мне так скучно, я теперь совсем один…

Я запнулся. Лайем рекомендовал в этом месте пустить слезу, но тут все как раз шло как по маслу. Бесконечная жалость к себе охватила меня. Слезы катились градом.

— Я совсем один, никто со мной не водится, не разговаривает, и только в церкви, только там мне хорошо, только там я могу разговаривать.

— Разговаривать?

— Да, ваше преосвященство, разговаривать с

Богом.

Мгновение он потрясенно смотрел на меня. Несмотря на свои слезы, тут я несколько засомневался. Кажется, я пересолил.

— И были какие-нибудь последствия, скажем, существенные последствия этих разговоров с Богом?

Последствия? Это была трудная минута.

— Не знаю, ваше преосвященство. Я только знаю, что я хочу, я иногда чувствую, мне хотелось бы…

— Да-да, сын мой?..

— Посвятить себя, ну, вы знаете, посвятить себя, в общем, церкви.

— Ты в себе чувствуешь призвание, не так ли?

— Да, ваше преосвященство. Я понимаю, я еще мал про это думать, но…

— Ты действительно еще мал. Но у призвания глубокие корни. Их надо взращивать. Не принимай, однако, скоропалительных решений. Станешь постарше — решишь. Голос истинного призвания неумолим.

Пауза.

— Предоставь это мне. Я подумаю. Приходи ко мне, ну, скажем, через год. Я буду следить за твоими успехами в школе. А эти тучи рассеются.

Он протянул руку. Я опустился на колено и опять поцеловал это его кольцо.

— Иди с миром. И помолись обо мне.

Я поклонился и вышел. Через год? Целый год? Как же так? Отгоняя невозможную мысль, я зажмурился.

Примерно две недели спустя О'Нилл, отец благочинный, правая рука епископа, позвонил в нашу дверь. Мама ушла в магазин, папа был на работе. Этот О'Нилл вечно торопился, вечно на всех рявкал. Я открыл дверь, он ткнул в меня пальцем, сказал:

— Так, малый. Сей минут идешь со мной в полицию извиняться перед сержантом Берком. Плащ надень, если есть. Ты что, сроду гребешка не видел? Ладно. Живей. Мать где?

— В магазин пошла. Сейчас будет.

— Некогда, некогда. Потом ей расскажешь. Про плащ забудь.

Лайем стоял за мной. Он подмигнул, когда я закрывал дверь. По улице, по улице, вдоль поля прыг-прыг-прыг, поспевая за длинным шагом О'Нилла, через плечо проверяя, не пришла ли, не видит ли мама, нет, но Лайем смотрит, и еще кое-кто, а я смотрю смело на тех, на углу Блучерской, а они кланяются священнику, и жаль, что сейчас

не гоняют в футбол, этим бы тоже не вредно, и дальше, дальше в конец нижнего поля, вот, вот нас перечеркивает Леки-роуд, вот газон, и — по песчаной тропке к казармам, прямо в открытую дверь. Полицейский, навалясь на конторку, разговаривал с типом в штатском, у которого свисала с губы сигарета. Пригляделся сквозь дым.

— А-а, римско-католическое священство. Какая честь!

О'Нилл просверлил его взглядом.

— Пора бы знать, нет иного католического священства, кроме римско-католического. И я не с такими пришел сюда объясняться. Позвать сержанта!

Приказ был адресован полицейскому, но Берк уже высунул из задней комнаты изумленное, вытянутое лицо.

— Святой отец. Здравия желаю. Заходите.

В штатском выронил сигарету и вдавливал каблуком, поедая глазами О'Нилла. Войдя к Берку, О'Нилл сразу плюхнулся на стул перед сержантским столом, схватил меня за локоть, поставил рядом. Вцепился мертвой хваткой и все время дергал и встряхивал по ходу разговора. Берк сел напротив.

— Чем могу служить, святой отец?

На меня не смотрит, но видит и судорожно мечется мыслью. Я подумал, что ему тошно, и приободрился.

— А вот чем, сержант. Его преосвященство мне поручил привести этого мальчонку, чтоб он перед вами извинился, а я бы послушал, годится ли его извинение и нет ли у вас еще чего нам сообщить. Так что, если согласны, он сразу же и приступит.

Дерганье, встряхиванье.

— Говори. Извиняйся перед сержантом.

Берк переключил на меня взгляд. Лицо было лишено выраженья.

— Простите меня, сэр, что я бросил камень в вашу машину и ее повредил. Я поступил плохо.

— И ты больше не будешь. — О'Нилл меня встряхнул. — Ты навсегда покончишь с хулиганским поведением.

— Я больше не буду.

— И вообще не позволишь себе подобного. — Снова встряхиванье. О'Нилл неудовлетворен.

— И не позволю себе подобного.

Больше я ничего не мог выдавить. Я надеялся, что больше он ничего не потребует. По крайней мере, пока не выскажется Берк.

Берк улыбнулся саркастически.

— Сколько у нас возни с этой Вязовой, святой

отец. Этот пацаненок, старший брат, Барр, Моран, Харкин, Тонер… Вы даже не представляете.

— Почему, очень даже представляю. Там есть плохие мальчишки. Но этот не самый худший, кажется.

Он наконец отпустил мою руку. Я потер локоть и стоял, давя в себе всякие чувства.

— Слишком вы добрый человек, святой отец, что тратите свое драгоценное время на такого обормота. Уверен, у вас есть дела поважней.

Ошибочка, Берк. Рассказывать О'Ниллу, что ему надо делать, вовсе не следовало. О'Нилл, конечно, ответил:

— Дел у меня полно, сержант, как и у вас, не сомневаюсь. И я не очень-то знаю, что там у вас случилось. Но его преосвященство меня попросил присутствовать при извинении этого мальчугана по причинам, каковые, он сказал, вы прекрасно поймете сами, и, по великой мудрости своей, он не счел нужным их разжевывать мне. Так что для вас это, может, не такое уж важное дело, а для меня ничего нет важней, чем служить моему епископу.

— Нуда, нуда, святой отец, — бормотал Берк. — Так вы уж скажите его преосвященству, я тоже прошу прощенья, что мы его затрудняем такими

делами, и пусть не беспокоится, насколько от нас зависит, инцидент закрыт.

— Скажу. И как я понял, вы принимаете извинения этого мальчика?

Берк весь перекосился. Но деваться было некуда.

— Принимаю. Конечно принимаю. С учетом, что подобное впредь не повторится.

Голос был фальшивый. Он снова глянул на меня, и я внутренне дрогнул под напором этого взгляда, но сохранил скорбное лицо.

Мы с О'Ниллом вышли вместе из полиции и расстались у газона. Он погрозил мне пальцем и сказал, чтоб я держался подальше от уличной шпаны; что мне повезло, что мной заинтересовался его преосвященство; что он надеется — я за это отплачу хорошим поведением и стану честным, порядочным гражданином. Я смиренно кивал, мечтая поскорей от него отделаться, потому особенно, что эта самая шпана столпилась наверху поля, чтоб на нас посмотреть. О'Нилл зашагал прочь, а я пошел им навстречу. Они медленно надвигались. С ними был Барр. Меня окружили.

— Чего это? Что за дела у попа с легавыми?

— Епископ послал О'Нилла отругать Берка за

то, что зря на меня наговаривает. Берка теперь отлучат. Епископ об этом подумывает. Или так, или его от нас куда-нибудь переведут. Епископ уже насчет этого написал правительству.

На меня смотрели в молчании.

— А он чего? Чего Берк-то сказал?

Они потащились за мной.

— О'Нилл мне сказал, чтоб я больше ничего не говорил. Он велел Берку извиниться, а я чтоб успокоился, и все. Они с епископом присмотрят насчет этого.

Лайем меня осиял улыбкой.

— Какие слухи? Это ты меня спрашивал? Кажется, стал наконец кое-что петрить.

Потом, уже у нас во дворе, он сказал:

— Теперь Берк в случае чего тебя по стенке размажет. Ты уж от него подальше, а то мало ли. Может, тебе в попы податься? Вздохнули бы мы все спокойно.

Я только плечами пожал, расхохотался и прошелся колесом по двору. Вечером я буду играть в футбол.

Дедушка

Октябрь 1952 г

Бабушка, мамина мать, умерла, когда я был еще совсем маленький, и меня поднимали к гробу, чтоб я целовал облагороженный холодом лоб. Руки были обвиты огромными четками, рот запал лиловой чертой. Память нашаривала добрую женщину в черном, она взмахом набрасывала на плечи шаль, садилась, из-под тяжелого подола высовывала шнурованные башмаки.

И теперь вот заболел дедушка. На взбитых подушках, в постели, которая стала ему велика, он будто все время плакал: глаза набухшие, красные, при сухой, как бумага, коже. Меня послали жить туда, за три улицы от нашей, помогать тете Кэти, которая бросила собственный дом, чтоб за ним ходить. Я обижался. Это была ссылка, кара за все мои прегрешения. Тете Кэти-то что. Она же теперь на фабрике совсем не работала. Только ей, по-моему, было тяжело с отцом, а ему с ней. Оба нервничали, когда разговаривали, и даже сердились.

Сперва я терпеть не мог сидеть с дедушкой.

— А ты его насчет футбола заведи, — советовал Лайем. — Он же заправлял в местной лиге. Или насчет попов. Он им всегда цену знал, теперь-то

нервы сдали, сил нет, он, конечно, не тот. Как Константин.

Наш двоюродный дед, мамин дядя Константин, был единственный в семье еретик. Он был, нам говорили, всезнайка, чересчур начитался книг и со всеми спорил, особенно со священниками. На четвертом десятке вдруг принялся за французского знаменитого писателя по фамилии Вольтер, который в католическом запретном списке, и скоро на стенке повесил плакат "Раздавите гадину", красным по черному; это, говорил, у нас с Вольтером символ веры такой. А потом он ослеп, заболел и сдался, дал себя перед смертью вернуть в лоно церкви. Слепота эта, нам объясняли, была ему послана как предупреждение. Слава богу, хоть внял, да оно и не диво, ведь его святая мать Изабелла, Белла то есть, все коленки стерла, так за его душу молилась. О господи, счастливая она была женщина, когда он умер, отправленный на небо Последним Таинством, и отец Галлахер из соседнего прихода лично, сердешный, сжигал по листочку эту книжку Вольтера в кухонной плите и приговаривал, что пусть лучше горят эти страницы, как сам Вольтер, чем душа человека, который, их начитавшись, телом и душою ослеп от их богомерзкого блеска. Я никогда Константи-

на не видел, но понимал, конечно, его значение, он был единственный признанный еретик, чье заключительное поражение стало показательной печальной победой священников, ныне моих учителей.

Но дедушка раскрыл мне глаза. Обычно я делал уроки за столом у него в комнате, а он сидел в высоких подушках, занятый, насколько я понимал, умираньем от скуки. Он редко говорил; но как-то спросил, что я делаю.

— Да так, французский.

— Французский! И на кой тебе сдался французский? Кто у нас тут по-французски говорит? Делать им нечего! Учил бы лучше ирландский, наш родной язык.

— А кто у нас тут по-ирландски говорит?

— Фрэнки Минан, Джонни Харкин. Вот тебе уже двое. Наберется! И смотри, до чего этот французский Константина довел. Из-за него он зрение потерял, а потом, говорят, и душу.

— Константин? Да он же ведь умер католиком.

— Ан нет. Нет. Умер еретиком. Священника не подпустил и умер, прижимая к груди эту французскую книжицу, которую у него силой хотели вырвать.

— Я слышал совсем ина…

— Конечно, ты слышал. Они тебе еще и не такого сварганят, чтоб другим неповадно. Но старый Кон — он сейчас поджаривается вместе со всеми безбожниками, царствие ему небесное.

Тут он вдруг расхохотался, и я тоже.

— Да уж, царствие небесное, и огонька поддадут, и читай себе любимую книжку французскую.

И опять он зашелся хохотом, икотой и хрипом. Мне так понравился Константин, что я сам себе ужаснулся. И захотелось спросить дедушку: "А ты? Ты не сдашься?" Но я не смог.

— Чему там еще вас учат?

— А-а, ну, ирландский преподают, латынь, греческий, математику, историю…

— Историю. Какую историю?

— Древнюю, Рим и…

— Далась им, ей-богу, эта древняя история. Тут в нашем городе столько древней истории, да не могут они ее преподавать, а и могли бы, не стали.

— Например? — Я весь дрожал. Неужели расскажет? Когда дни его сочтены, может, он обратит на меня внимание, расскажет о своем прошлом, вместо того чтоб смотреть сурово, смотреть сквозь меня, как было всегда. И я опять услышу историю Билли Мана из уст человека, который его убил!

— Незачем тебе знать.

Выпятил нижнюю губу, уставился в одеяло. Мне захотелось его стукнуть.

— Ну, значит, потому и не преподают ее в школе.

— А-а, сообразительный какой, может, и потому.

И умолк. Я еще подождал — напрасно. И вернулся к французской грамматике.

Мама все время приходила его навещать, и ее братья — Дэн, Том, Мэньюс, Джон. Она подолгу просиживала у дедушки, а я лежал внизу на диване, читал и гадал, сколько времени у него еще займет это умирание и когда я смогу наконец вернуться домой. Как-то она спустилась вся бледная, еле дошла до кресла. Я глянул на нее краем глаза. Лицо перекошенное, тискает на коленях руки. Я спросил, что случилось, она затрясла головой и поджала губы так, что мне привиделся бабушкин мертвый рот. Я догадался, конечно, что они с отцом чего-то наговорили друг другу, но мне было этого мало. Минуты две я еще притворялся, что читаю, но тут она затряслась, заплакала, я встал, обнял ее, хотел успокоить. Она плакала, плакала, и вся верхняя часть тела у нее дрожала. Я собирался сказать что-нибудь такое, что на самом деле ее отец хочет умереть, встретиться со своей

женой на том свете и прочую дребедень, какую любят взрослые, но понял, что ее горе в другом. Она застонала, скорчилась, будто у нее болит живот, потом распрямилась и глянула на меня всем лицом, и по щекам у нее катились слезы.

— Эдди, — она сказала. — О господи. Эдди. Теперь мы пропали.

Имя гремело в моих ушах, нервы, все до единого, дернулись и, оголясь, натянулись.

— Эдди?..

— Шшшш, — она шептала, трясла головой. — Ни слова, ни слова. Не слушай меня. Мне грустно просто, что умирает дедушка.

Потом она распрямилась, ушла к умывальнику, умылась, правда глаза все равно были красные, и сказала, что долго мне не придется тут оставаться, скоро его заберут в больницу, живой он оттуда не выйдет, скоро я снова буду дома, со всеми.

— Он уже немного заговаривается. Ты не очень-то слушай, что он говорит, и, главное, не повторяй. Даже мне.

И ушла. Это было начало ее долгой болезни. Я остался внизу, наверху — дедушка, дом темнел, тетя Кэти все не возвращалась, и у меня бухало сердце.

На смертном одре
Ноябрь 1952 г

Дедушка мне велел читать газету, всю подряд, начиная со спорта. Даже скачки его интересовали, хоть он в жизни на них не ходил. Потом новости. Потом некрологи. Когда газета исчерпывалась, он просил рассказывать, что я делаю, про школу, про друзей, про мою жизнь — дома, на улице. Я спрашивал про то, как ему работалось линотипистом в "Дерри джорнэл" в двадцатые — тридцатые годы, про его борьбу за рабочее дело, про волненья двадцатых, про бокс и футбол. Я хотел, чтобы он рассказал мне историю, которую я урывками слышал с лестницы, когда был маленький, и потом на проповеди брата Регана. Но на Билли Мана его свернуть не удавалось, он говорил только, что времена были скверные, кое-что лучше забыть, а помнить одно — надо бороться, бороться, бороться против правительства.

— А что с мамой? — спросил я как-то. Она только что ушла и была, как всегда, грустная, слабая.

А-а, он ответил, всякое у нее, ничего, обойдется. Почему она все время про Эдди говорит? — спросил я, прилгнув, потому что она его ни разу не

помянула с тех самых пор, а прошло уже две недели. Тут он встрепенулся, сам изобразил интерес, но тут же устыдился, спросил, что же она говорит. Просто имя его повторяет, я ему сказал, и что все, мол, ужасно. Ведь Эдди же папин брат, давным-давно исчез, что же вдруг-то случилось? Что она узнала такого, почему разволновалась? Но она с меня взяла слово молчать, я сказал, она знает, со мной можно говорить, я никому не скажу.

— Даже отцу не скажешь?

Я знал, что ответить.

— Ему особенно. Так она велела. Я бы и тебе не стал говорить. Просто я за нее беспокоюсь.

Я наседал на него, наседал целыми длинными вечерами, пока он не засыпал измученный, и приходила Кэти, и отсылала меня домой, иногда с ночевкой, потому что я стал совсем бледный и чересчур много занимался дедушкой. Мама в то время уже совсем разболелась, все реже ходила к дедушке, а я все рвался к нему, никак не мог от него отстать, пока не скажет, что же это такое, как это было. Я уже почти понял, что ничего мне не светит, и тут вклинились священники.

Как-то под вечер, сопровождаемый Кэти, с ларцом в руке, сдобно сияя епитрахилью, в спальню вошел отец Моран. Кэти в одной руке держала

зажженную свечу, миску воды в другой, и на локте у нее висела белая салфетка. Мне бы догадаться, что к тому идет, утром здесь, несмотря на сопротивление дедушки, курили ладаном.

— Папа, тут отец Моран пришел с тобой поговорить… — начала Кэти.

Он был из добрых священников.

— И зачем я этому человеку? Вы сказали, помоему, Кэти, что ему нездоровится? Да вы само здоровье, мистер Дохерти. Но раз я тут, давайте уж…

Дедушка в каком-то ужасе переместился на постели. Тыча в Кэти пальцем, он спотыкающимся голосом вывел:

— Гони его отсюда. Когда мне понадобится поп, я позову, не раньше. Гони.

— Что вы, что вы, мистер Дохерти, ну-ну, это ж просто дружеский визит. Послушай, сынок, — наклон ко мне, — бежал бы ты вниз. Живей.

И дал мне пинка.

— Пусть малыш останется. Никогда тебе не прощу, Кэти Дохерти! Привела этого, без предупреждены!!

Меня вытолкали, дверь закрыли. Я остался послушать, но тут отец Моран открыл дверь, погрозил пальцем: "Вниз, вниз. Тебя позовут". Я

пошел вниз и там слушал голоса: отца Морана, Кэти, еле слышный дедушкин. Потом наверху задвигали стульями, и все стихло. Кэти и отец Моран спускались по лестнице. Она с перекошенным лицом, он какой-то красный. Прошли на кухню, опять прогнали меня, уже во двор, и я видел в окне, как они стоят посреди кухни, разговаривают. Отец Моран ушел, Кэти позвала меня и сказала, что сейчас же бежит к маме, а я пусть посижу с дедушкой, видит бог, он язычник, каких еще не носила земля, она прямо не знает, такой стыд, такой срам, уж чего-чего он наговорил доброму отцу Морану, Господи Боже Иисусе Христе, что ж теперь делать? Напялила пальто, убежала.

Дедушку трясло. Сука дочка. Этот ее поп чернявый. Шакалы, вынюхают, выждут, когда у человека силы сдадут, и налетят, чтоб зацапать тебя и живых застращать своей победой. Ох, теперь-то он понял, чего натерпелся Константин. Когда нужно, их небось не докличешься. Когда боролся за Ирландию, он понял им цену. И чем они только баб привлекают? И так далее, в том же духе. Я был в ужасе от того, что он натворил, но ужас мешался с гордостью. Он не сдался. Но он ужасно устал.

— Ты меня им в последнюю минуту не отдавай,

сынок. Не отдавай.

— Я не отдам, — отвечал я, хоть не очень себе представлял план действий.

— Пообещай. Э, да что такой ребятенок обещать может? Что с тебя взять…

— Я тебя предупрежу, если узнаю, что они идут. Он смутно улыбнулся, протянул мне руку. Я держал ее в своих, у самого дедушки совсем не было сил, и так он уснул.

Ланди горит
Декабрь 1952 г

И начались его последние дни. Я слушал, слушал, глохнул, слушал. Сперва были одни жалобы. Потом восхищение моим папой, боксером, как он выиграл Северозападный чемпионат — нокаутом в последнем раунде, когда уже вчистую проигрывал по очкам, глаз подбитый, не открывается, и перебит нос. Я это знал, но снова выслушал во всех подробностях. Он рассказывал, как драил свою линотипную машину после ночной смены, вся аж сверкала, и как запах чернил до сих пор напоминает ему о подвальной тьме, в которую он каждую ночь вступал, особенно густой, когда снаружи белелось лето. И как он вечно угадывал,

если Лиззи, бабка моя, что-то от него таила: так ее дыхание чуял, что стетоскопа никакого не надо, и когда она, бывало, волнуется, всегда у ней жилка билась на левом виске, и до чего ему жалко — что ж это он ей не показал, как ему дорого всю ее знать наизусть, нежно, тайком за нею подглядывая из-под маски строгого мужа.

Была пятница, меня тянуло домой, к супу из белой рыбы, который всегда готовила мама, и к еженедельным картинкам-комиксам из дяди-Фонсиной лавки, как вдруг дедушка очнулся от долгого, тяжелого сна и дико огляделся. Было восемнадцатое декабря. Дождевые лучистые капли крапом вкось сползали по оконному стеклу. Скоро, я знал, на горе, на каменном столбе выше городских стен, будут сжигать Ланди. Столб венчала статуя коменданта Уокера, защитника города при осаде 1689 года; гигантский повешенный Ланди, предатель, болтался всегда на постаменте памятника герою, взрывался в огне под множественную барабанную дробь, и оркестр, укрытый стеной, выдавали гребущие мокрый мрак знамена.

Я усадил дедушку в подушках. "Он жить не хочет", — шептались его сыновья и дочери, сидя вокруг, вглядываясь в него и разговаривая так,

будто его уже нет. В кремовой рубашке, открывавшей тощие ключицы и только подчеркивавшей суровость лица, он смотрел на меня, мимо меня. Собственные дети еще жалели и боялись его, рухнувшего, непрощающего, он для них не утратил власти, он ее вобрал в себя и забирал с собой, туго, как в одеяло, в нее запахиваясь. А я уже угадывал то, что на уроках Закона Божьего называли нам "мытарствами души".

В тот вечер он сперва не понимал, где он, когда я включил настольную лампу. Стонал, дико озирался. Потом угомонился. В наставшей тишине я услышал первые оркестровые раскаты, долгое барабанное раллентандо. "Закрой ты окно, Христа ради, — он вдруг сказал, — мочи нет слушать их эти дикарские тамтамы". Окно было закрыто, но я притворился, что снова его закрываю, чтоб поверх домов глянуть на болтающегося гиганта, на пламя, подбирающееся к его ногам. Обернувшись, я застал в зрачках дедушки гаснущий след гнева. На секунду он мне показался грозным.

Мне стало нечем дышать, воздух во мне застревал, я не мог его вытолкнуть, у меня страшно заколотилось сердце. Дедушкино лицо, только что римски-мраморное, вдруг, на моих глазах, опало и сморщилось; он в тот вечер ничем не пах-

нул, как статуя, хоть всегда я ловил тонкий запах старости, как тающий в чистоте спиртной дух. Барабаны грохотали, грохотали, мы переглянулись, они стихли, и я весь потянулся к наживке, которую от меня уже так часто отдергивали, когда я изготовлялся ее заглотнуть.

— Только твоя мать знает все. Мне надо было кому-то сказать, а теперь жалею. Не может она понять, не может простить, а от таких, как Моран этот, мне прощенья не нужно.

Эдди умер, он мне сказал под рокот, под рев барабанов. Его казнили как доносчика. Доносчик. А я думал, он убежал. Но мой отец знает. Это-то он знает. Что его брат был доносчик. А он знает, что Эдди умер, что его казнили? Нежный шелест ракет, дальний крик. Ты мне расскажешь, обращался я мысленно к папе, ты мне расскажешь наконец после стольких лет, а я уже знаю. Да. Ну и пусть. А мама почему так расстроилась? Она узнала. И знает, что папа знает. Он ей, конечно, сказал. Но что тут такого нового, что тут такого ужасного? Теперь я знаю папину тайну, но мамина тайна — в чем? И как это связано с папой? Дедушка откинулся на подушки. Поганым этим священникам он исповедоваться не станет, А маме сказал. И вот теперь скажет мне. Она-то ни

мне, ни отцу моему не скажет, а сказать надо. Он бы рад рассказать всю эту историю моему отцу. Какую историю? Я встал, я почти кричал на него. Какую историю? Он закрыл глаза, и он мне сказал, он мне сказал. Он, дедушка, приказал, чтоб казнили Эдди. Но он ошибся. Эдди подставили. Никогда он не был доносчиком. И он мне сказал, кто был на самом деле доносчик Я ушел от дедушки и пошел прямо домой, домой, где уже не смогу по-настоящему разговаривать ни с папой, ни с мамой.

Через два дня дедушку отвезли в больницу, почти без сознания, почти приконченного ударом. Он лежал ко всему равнодушный, к священникам, совершавшим свой ежедневный обход, к посещениям детей и внуков, к исполнявшим свой долг сиделкам и докторам, и все ждали конца. Конец наступил быстро. Дедушка умер во сне. Я его видел в морге, сморщенного в гробу, как древний младенец, а потом было снова все то же: бдение над покойником, ночной перенос в церковь, заупокойная месса (над которой, я знал, он бы посмеялся), бесконечный ход через Болотную к кладбищу, вослед орарям, от плеч до пояса рассекающим духовенство, прощальные взгляды женщин, не присоединившихся к похоронам,

лопаты в глине, нищие у могилы, слезы, насквозь режущий ветер, облегченье.

И все время я томился и надеялся, что с его смертью то, что он мне сказал, каким-то чудом отменится, хоть знал, что все просто пересажено в маму и ничего этого не будет. Нас с ней проткнуло одной стрелой. Только она не знала. И я не стал бы ей говорить, если б она сама не заговорила. Но даже когда все уже было сказано, даже тогда во мне застряло чувство, что осталось что-то еще, что-то дедушка вымарал, она не знает.

Я притворялся перед мамой, будто бы верю, что она так убивается из-за того, что у нее умер отец, и будто бы я рад дать ей про него выговориться — я честно старался, — чтоб ей стало легче. Проще было, когда приходила тетя Кэти, та словоохотливо, с чувством освобождения говорила про него. Сперва они все рассуждали, как два теолога, о том, почиет ли на нем милость Божия, ведь его благословил священник и он так мирно отошел. А то убивались, что он отказался от последнего причастия и отправился в вечность без отпущения грехов. От этой мысли их кидало в слезы. Они рыдали: "Без покаяния, без покаяния..." И, глядя, как они утирают глаза, как сидят, закрыв лицо руками, сдвинув носками внутрь

стоптанные башмаки, вдруг я проникался мерками, которыми мерили жизнь эти женщины. От объемности иного, распахивавшегося во все стороны мира мне сводило живот. И напрасно я себя уговаривал, что ни во что я в это не верю. Нет, все это было, было: дикий бескрайний полет пространств и мятущийся дедушкин дух, лишенный света, навеки погашенный, навеки свою погашенность сознающий, и дочки горюют внутри крошечной кухонной планеты и этого мира, который он так сурово отставил. А потом они молча сидели, и кастрюли подрагивали на плите, и урчала, закипая, вода.

Еще они вспоминали, как дедушка любил выпить по выходным, а потом сразу бросил. Кэти вспоминала: в понедельник утром однажды входит она на кухню и видит — стоит над раковиной, сливает туда бутылку виски, а сам лицо воротит, невмоготу ему на такое смотреть. Она точно помнит, она сказала, это было как раз на той неделе в двадцать шестом, в июле, когда Макилани укатил в Чикаго, а ее бросил беременную. Она сказала — Макилани, ничего, только имя, но что-то вывела голосом, похожее на проклятье. Мама опустила голову, и Кэти ей кивнула с сочувствием, хотя мне казалось, что сочувствия заслуживает скорей

Кэти. Ни капли спиртного, Кэти сказала, отец с тех пор в рот не брал. Это когда был суд из-за Мана, перед самым судом, не то сразу после. Кэти была на восемь лет моложе мамы. Она всегда полагалась на мамино более точное знание прошлого. Но мама сказала — нет, не тогда, совсем не тогда, и вовсе не потому. Он же много раз бросал пить, каждые два-три года. Бросил в двадцать втором, как раз перед судом из-за Мана. Но снова начал как будто бы через год. Насовсем, кажется, бросил в двадцать шестом. Она теперь уж не помнит, отчего да почему, он всегда ни с того ни с сего бросал, а потом опять пил. Я посмотрел на нее и увидел, как ложь расползается по лицу переменой выражения. Я знал, почему он бросил пить в двадцать втором. Это было после Эдди, а Эдди был до суда из-за Мана. А в двадцать шестом он узнал, что доносчик Макилани, а Эдди невиновен. Она крутила на пальце обручальное кольцо, глядя в пол. Самое ужасное было, что я тогда ее любил и, значит, не мог ничего сказать, ничего спросить, а только кивать, смотреть, как крутится на пальце кольцо, и думать — вот меня отключают, вот снова включают; хочу, чтоб ты знал; нет, ни за что; не хочу, чтобы ты хотел знать; знать не хочу, знаешь ты или нет. Кольцо поворачивалось,

сверкало. Она положила правую руку на левую, и кольцо погасло под сильными пальцами.

Они все говорили про дедушку. Папа, царствие ему небесное, сказала Кэти, был тогда со мной ласковей, чем всегда, я даже не думала, что он может быть такой ласковый. Жалел, что ли. Господи, да я сама себя жалела — без мужа беременная осталась. Она смолкла, посидели, помолчали. Да уж о том говорено-переговорено, чего тебе опять слушать, — это Кэти маме. Хоть, ей-богу, в толк не возьму, почему он так сразу уехал. Мама не подняла головы. Волосы у нее седели. Значит, Кэти тоже не знает. С минуту она смотрела на маму, водя верхней по нижней губе. На вид она была не на восемь лет моложе, больше. Волосы еще темные, кудрявые, еще свежая кожа. Улыбаясь, она повернулась ко мне.

Сам-то он был не ахти какой футболист, зато уж организатор отличный и мог разглядеть талант, где другие в упор не видят, она сказала. Футбол. Футбол. Кэти не интересовалась футболом. Он говорил, из тебя классный игрок получится, она снова мне улыбнулась. Я кивнул. Комплимент был особенно ценен, оттого что дедушка умер. Он уже не передумает, его уже не переубедят. Он вел два клуба, "Арсенал" и "Кельтские странники",

одни были красно-белые, другие бело-зеленые. Красные мне нравились больше, но из патриотизма я болел за зеленых. "Отдай мяч, — орал он мне из-за бровки. — Хватит возиться, пасуй, пасуй". Но я держал мяч, пока кто-то его не отобрал у меня в подкате, а когда поднимался на ноги, я видел, как папа хохочет, как кипит дедушка. Футбол был танец, не игра. Дедушка думал иначе. Мне было все равно. Мама совсем сорвалась с катушек из-за вопроса о том, почему ее отец бросил пить. Ты что, нарочно? — молча, взглядом спрашивал я у Кэти, и улыбался ей, и вспоминал тот подкат защитника, оторвавший меня от земли. Вот только что дедушка слепо носился по вечности, а в следующую секунду орал на меня из-за бровки, и папа был огромный с ним рядом, и я поднимался с гаревой дорожки, и моя правая нога онемела.

Папа
Февраль 1953 г

Ни с того ни с сего папа предложил нам с Лайемом дойти вместе пешком до Кулмора, там взять лодку и переправиться на другой берег, где собирались строить британский кислородный завод. Неплохо бы побродить, поглядеть вокруг,

он сказал, пока не начали стройку, а то потом уж ничего не увидишь. Мы согласились. Когда садились в лодку, небо темнело, ветер, взвыв, отрывал от берега странные клочья эха и гнал их к устью. Папа был сильный, но греб он неважно, лодку то ставило поперек течения, то выпрямляло косым хлещущим шквалом, то подбрасывало на водных откосах. Дождь и брызги били в лицо. Он сидел посредине, мы с Лайемом на корме и на носу. Потуже стягивая под подбородком ремешки черного кожаного шлема, я смотрел, как Лайем вставал, исчезал за ходячими папиными плечами, пока нас мотало и дергало. Когда добрались до другого берега, мы совсем промокли и зарядил уже обложной ливень. Сперва мы спасались под деревьями, но скоро они стали сбрасывать на нас свой водяной груз, и мы просто пошли напролом, сквозь дождь, по тропе между громких слепящих деревьев. Он ничего почти не говорил, только погонял нас, и так мы продвигались от берега вглубь к Ардмору. Дождь унимался ненадолго, тропа делалась пегой от солнца, потом снова хлестало. Жуткая прогулочка.

Наконец мы спрятались в открытой церкви, она стояла одна, на отшибе, при повороте дороги. Сидели в чернильной тьме, роняя дождь, капля-

ми отмерявший секунды, и смотрели, как зелень и алость заалтарного витража печально тускнеют в ответ на помрачение неба и дальнюю пальбу грома. Папа сидел, положив плащ рядом на скамью, устремив взгляд на пламя лампады над престолом: алое, багряное, алое, ровное, дрожащее, ровное. Лайем стянул шлем, рыжие волосы колосьями встали на макушке. При взмахе шлема по плитчатому полу рассыпалась, расскакалась вода. Нас обоих это привело в восторг. Я тут же собезьянничал. Папа внимательно глянул на нас и сказал, что не худо бы посидеть тихонько, а то и помолиться. "Помолитесь за маму, — он сказал. — И за меня заодно. Тоже не вредно". Он нежно улыбался, и мы стали на колени и замерли в неудобно-молитвенных позах. "Ладно-ладно, перестараетесь, — он смеялся, — можно и так молиться, необязательно из себя корчить святых". Мы сели, но мне было стыдно. Церковь смотрела недоверчиво на чужаков, нарушивших ее скромный покой. Мы хихикнули оба. Папа нагнулся и с любопытством нас разглядывал.

— Чего смешного?

Мы захихикали громче.

— Дурни стоеросовые, вот вы кто.

А у самого улыбка до ушей.

— Все эти места, до самой реки, пойдут теперь под фабрику. — Он говорил почти шепотом. Он хотел, чтоб мы на них поглядели, потому что он тут часто бывал в детстве с родителями, у его матери тут жили родственники, давно никого не осталось. Они богатые были, эти родственники. Двое слуг, пони с тележкой. Он как сейчас помнит: отец и Эдди сидят в тележке, отец держит поводья, а Эдди нукает на лошадку. А другой раз, он помнит, Эдди усадили верхом, и пони пошел, пошел по кругу, медленно так идет, потряхивает Эдди, а Эдди как всадит ему пятки в бока, пони как припустит галопом, галопом по лужку, отец и взрослые все бегут, кричат, а Эдди хоть бы что, пони — под деревья, а он только голову пригибает, кричит и руками машет. Ох и лихой же он был, Эдди.

Да, сказал папа, хорошо бы вспомнить — та это церковь, в которую они ходили, бывало, когда приезжали к родственникам? Он огляделся, мы — тоже, как будто и нас могли осенить воспоминания. Грустно смотрели с витражей на престол святые; удивляя апостолов, вверх, к свету Святого Духа, вдруг занявшемуся от солнца, рвался одинокий херувим. Нет, папа точно не мог сказать. Я знал, что он тут в последний раз, как мы — в

первый. Мне представилось: церковный звон путается в мокрой листве, сквозь него идет маленький мальчик — папа, за ним на лошадке Эдди, родители степенно замыкают шествие, и сзади море, волна за волной, отвоевывает берег.

— Эдди не убили в той перестрелке, — сказал он вдруг и спрятал глаза.

Он это сказал, и сразу я стал спокоен, как смерть. Фраза растаяла в церкви, снова сгустилась у меня в голове. Надо было что-то сказать. Лайем спросил, что ж тогда случилось, если его не убили? Я готов был его расцеловать, готов был зажать ему рот. Наконец-то я знал больше, чем он. Чем они оба. Я вдруг стал как будто отцом им обоим. Я смотрел прямо в лицо папе, и было трудно смотреть, как он мучается, выдавливая из себя свою тяжелую, свою ложную правду. Хотелось погладить его по щеке, унять расходившиеся желваки, потрогать проступившую в странном освещении седеющую щетину. Он так опустил подбородок, будто придерживал скрипку.

— Нет, его не убили на винокурне. Он был доносчик. Его убили свои.

Вот он это и выговорил, и стыд пригнул его лбом к передней скамье. Он на нас не смотрел. По бледным боковым стеклам шелестели капли,

плюхались наземь. Ясно как день я видел: Эдди сидит на пони, поднял руку, и пони скачет, выгнув шею, как на родео. Я потер рукой мокрое лицо. Я должен был это прекратить. Мама, я должен. Ты бы прекратила. Дальше идти некуда. "Папочка, — молча молил я, — я знаю, теперь уже поздно, но вернись на несколько минут в эту церковь, под дождь, ничего не говори. Не надо. Не надо".

Но он говорил, он давился; и лицо у Лайема стало белое, как звезда у него за спиной. Доносчик. Предал товарищей. Почему — неизвестно. Его брат. Слава богу, родители хоть не дожили.

Тайна была затхлая, как гнилое дыханье, и в том, как мы тремя заговорщиками согнулись на церковной скамье, и уже пробивалось солнце, и снова пробовали голоса птицы, — во всем этом вместе было обманное облегченье, будто церковь — машина такая, которая унимает дрожь мира и помогает ему очнуться.

— Мама знает? — спросил Лайем.

Он кивнул.

— Она потому такая грустная? Ты ей недавно сказал?

Он затряс головой. Она узнала сразу, как они поженились. Уже потом? Я удивился. Что чувство-

вал ее отец, когда узнал, с кем она встречается, за кого собралась замуж? И бабушка знала? Как же так она ничего не сделала? Нельзя было допускать такое. Это похуже, чем кровосмешение, про которое нам объясняли на уроке христианской морали. Вражда кровная, почище той, другой в папиной семье. Вражда. Наконец слово отяжелело. Та вражда, спрятанная на ферме, теперь покажется детской игрушкой. Но не ему. Раз я ничего не скажу. Ох, мама, мама, что тебе сказали родители, когда ты им сообщила, что выходишь за Фрэнка? Нелепый верзила вляпывается во все это, невинный как агнец, думая, что держит за пазухой мрачную тайну, и выдает ее после того, как они поженились. А она — знала? И притворялась, будто впервые слышит? Нет. Невозможно. Лучше бы он сказал ей заранее. Так он был бы еще невинней. Я бы его еще больше любил. Но я не в силах был любить его больше, у меня бы лицо разорвалось на куски, хоть скрепляй ремешками шлема. Молчи, не задавай вопросов, ну пожалуйста, Лайем.

Он и не задавал. Мы еще посидели немного. Я понимал, что папа молится, но я ничего не слышал. У Лайема был спокойный вид. Наверно, себя чувствовал взрослым. Он старше, ему легче, чем

мне, вот что он думал, я это прочел в его взгляде, и я знал, что лицо у меня именно в самый раз такое несчастное, как ожидал Лайем.

Папа вздохнул и поднялся уходить. И тут меня дернуло.

— А ты откуда узнал про Эдди? Тебе кто сказал? — спросил я, хоть сам хотел, чтобы это кончилось, но разве могло это кончиться, пока он не скажет мне все.

— Я уж думаю, когда ж они спросят? Я через восемь месяцев узнал от сестер, Ины и Бернадетты, когда они ушли с той фермы под Банкраной, где их обижали, и перебрались в Дерри. Они были там, на ферме, в ночь после пожара. Туда привели Эдди — или Эдди сам всех привел, — там допросили его, оттуда на смерть увели. Они его последние видели.

Он еще говорил, и я слушал, но теперь это все было так ясно и так немыслимо, что я не мог вместить, не мог поместить туда, на ту ферму, и я не мог представить себе, что эта ферма значит для папы.

— Так, — сказал Лайем. — А что мы-то там делали, когда были маленькие? Чего там оказались?

Дело в том, что умерла тетя и отписала ему в завещании кое-какие пожитки из родительского

дома. Он за ними поехал, да только зря. Ему ничего не отдали.

Они с Лайемом пошли по проходу, продолжая разговор. Я нарочно отстал.

Мы вышли на солнце и пошли домой. Всю дорогу я шел с ним рядом, хоть знал, что он-то думает — не совсем ошибаясь, — что я тоже расстроен и жмусь к нему, прячась в укрытии его горя. Мы вошли на кухню, мама взглянула на нас, и вся история его семьи, ее семьи, вся наша история прошлась у нее по лицу быстрым вальсом: радость — и сразу боль.

Глава четвертая

Мама
Май 1953 г

Мама ходила так, будто па плечи ей взвалили страшную ношу, а когда сидела, ноша, будто опрокинувшись внутри, давя ей на руки и на рот, их заставляла подергиваться. Я теперь понимал или думал, что понимаю, отчего это, особенно когда видел, как она следит глазами за папой с таким прахом и жалостью, что я удивлялся, как он не застонет, не заметит, что тут что-то не так, что она ждет, чтоб он ее за что-то простил. Не мог же я ему сказать, раз сама она не говорит. Я не мог даже ей показать, что я знаю. Она бы еще больше испугалась, еще больше огорчилась. Я все думал, как бы мне ей помочь, но ничего не мог придумать; любое слово, приходившее на язык, казалось смертельным. Я входил в дом, видел ее на загибе лестницы, снова она глядела в то окно, только теперь ее стерег настоящий призрак. Она спускалась ко мне, сердце у нее бухало, прерывалось дыхание, и она шла к плите, к кастрюлям, в

которых кипел ужин, и лицо у нее было сложено для плача, но не было слез.

Вечно она была на этой лестнице, чаще у верхнего окна, глядела, шептала, шептала, вдруг выкрикивала что-то несвязное. Как-то я к ней поднялся, она повернулась ко мне, и глаза были мокрые.

— Горит, горит. Все, все горит.

Взмахом руки показала на поле в окне. Опять повернулась, и на неподвижном лице шевелился, дергался рот.

И так всегда. Ночью нас будили голоса, мы бежали вниз, видели: она во дворе плачет, дрогнет в ночной рубашке, отталкивает папу, а он пытается увести се в дом.

— Что с тобой, голубка?

— Горит. Все горит. — Она кричала, увертывалась от него, отступала на несколько шагов, обхватив себя руками, смотрела в небо.

— Пойди ляг. Насмерть простынешь. Ну-ну, пойдем, пойдем, голубка.

А она трясла головой и смотрела мимо, и лицо блестело от слез.

Никто не спал, мы жались друг к дружке, смотрели во двор, на них: он в плаще поверх пижамы, она скользит из света в тень, в черноту, которую

не может разогнать бедная кухонная лампа. Он настигал ее у забора, и было бормотанье, всхлипы, потом ее плечи исчезали под его рукой. И они шли на нас. Она — повесив голову; и мы отступали — на кухню, в прихожую, к лестнице, и он ее вел к раскладушке, упрашивал лечь. Я видел, как она вздрагивала, когда он подтыкал под нее одеяло и знаками гнал нас наверх, и лицо у него было каменное и видна щетина.

— Почему это? — спросил я у него. — Что горит? Что с ней такое?

— Она как во сне бродит, — сказал он. — Вот как лунатики, знаешь? Убивается. Ничего. Справится, обойдется.

— А почему она убивается?

— Отца похоронила. И Уна тоже — сразу все вернулось.

Нам было страшно. Мне было стыдно. Когда я видел, как она бродит по дому, щупает стены, гладит пальцем облупленный лак на двери или тяжко взбирается по лестнице к своему окну, у меня горели щеки, сумерки пялились на меня во все глаза. Она уходит от нас, делается чужой, сумасшедшей, а мне — главное, чтоб кто посторонний не узнал, не заметил.

Вдобавок мне все время представлялось, что

умер кто-то еще, не только Уна, дедушка, бабушка или Эдди, нет, еще кто-то, и я про него знаю, тайный кто-то, и для него нет давно никакой надежды. И как-то это связано с папой. Лучше б он нам тогда не говорил про то, что Эдди доносчик Я кое-что понимал, но не все. Чего-то не хватало. Мама горевала так безутешно, как горюют, я думал, только о погибшей душе, о том, кто вплетен в адский огонь, как газ вплетается в пламя. Я сидел с ней рядом у плиты, смотрел, как горят угли. Вот задымит уголек, тоненько прошелестит и займется красным. Она смотрела, как я слежу за огнем.

— Видишь? — говорила. — Какая это боль! Огонь — это ты, ты — это огонь. Но остается зазор. Боль. Жжет. Горит.

И она снова плакала. Иногда разрешала мне держать ее за руку. Иногда смахивала мою руку и сидела с неподвижным лицом, а слезы катились, катились, и взмокал подбородок, и кожа в желобке шеи казалась текучей.

Приходил доктор, прописывал пилюли и капли. Она их принимала, успокаивалась, но от лекарств горе только сгущалось, как тромб. Когда оно одолевало, побеждало лекарства, маму трясло, глаза блестели от слез, не перетекавших за плотину

век, опасных. Она так мучилась, что не могла плакать, хотела и не могла. Я трогал ее, пробегал пальцами от локтя к запястью, втирал мизинцем синие жилки, а она ничего не чувствовала. "Это моя мама, — убеждал я себя, — это мама". Я мечтал о таком волшебном шприце, я его всажу ей в руку, выдерну, весь наполненный черным горем, и буду всаживать, вынимать, всаживать, вынимать, пока он не выйдет совсем прозрачный, и я тогда посмотрю ей в лицо и увижу улыбку, и в глазах у нее будет веселье, которое я, кажется, еще не забыл. У нее были холодные волосы. Морщинистая кожа блестела, обтянув скулы. "Ох, Хосподи Иисусе", — шептал папа, и святое имя шипело у него на губах, как змеи в гнезде. Он ласково брал ее за подбородок, поднимал к вечернему свету лицом, и она отвечала жалким, бедным подобием улыбки. Он отводил руку, она снова роняла лицо, и я думал, он думал, что она говорила: "Горит, горит", — но это был только бессмысленный звук, просто во всем, что сходило у нее с губ, нам звучало это слово, и папа, охнув, поднимался со стула, жаля мне ноздри меловым, соленым запахом доков, засевшим в складках спецовки, и было так, будто он сам произносил это слово, хоть он всего только прочищал горло.

Я засовывал руки в носки, доставал до лодыжек и так стоял, собираясь с силами, чтоб уйти от этого наклонного лица, тихо сложенных рук, от тревожного холода черных, седых волос.

Мы с Лайемом играли в футбол и от ужаса бодро орали. При драке отвешивали друг другу звонкие плюхи, не сплетались, не обнимались в борьбе. Небо запрокидывалось к солнцу, падало в звезды, а она все шла и горела, едва шевелясь, и призрак не отступал и шел рядом, слышно, неслышно.

И вот наступил настоящий плач, смертные рыданья, страшные, как эпидемия. Хуже всего были воскресенья. Мы возвращались с обедни расфранченные, сестры — новенькие и одинаковые в светло-зеленых твидовых пиджачках, мы с братьями — стесняясь рубашек и галстуков и в разные стороны торчащих волос, по рекомендации Лайема смоченных густо сахарной водой, чтоб "красивей лежали".

Папа нас обгонял, когда заходили в прихожую, потому что слышал этот плач, нараставший волнами звук, рвавший из души нестерпимо тугой ужас, тотчас еще туже стягивавшийся внутри. Мне хотелось бежать, вон, через Минан-парк, мимо воскресного футбола, мимо согнувшихся в три погибели игроков в шарики, мимо детишек

на качелях, выставивших упругие ножки, мимо зачарованных сизым дымом картежников на досках снесенного бомбоубежища, и дальше, по разрушенной Вязовой, по долгому изволоку Епископской, дальше, дальше, к реке и — по мосту — к безопасности вправду чужой территории, к чуждости протестантов с их библиями и болью их извивающейся железной дороги, уходящей в Колрейн, Порт-Стьюарт, Белфаст. Но еще мне хотелось ворваться в прорву этого плача, раскинуть руки, его поймать, схватить и чтоб он в меня вошел словами, словами, словами, а не этим зарядившим звуком, животным, рваным, ломаным, маминым. А потому я просто стоял и смотрел на нее, пока жалко суетился папа, все подходили, трогали ее, гладили по волосам и сами заливались слезами. Эйлис села перед ней на корточки, сжимала ее, вдавливалась лицом ей в живот, но мамины руки висели безвольно, и на мокрое лицо падали недочесанные волосы. Щетка валялась в кухонном углу, там, где она ее бросила. Я подобрал щетку, вытаскивал застрявшие в щетине пряди, накручивал себе на палец, и они у меня в руках нежнели, будто с них на меня переходила эта туга. Я чувствовал, как она в меня входит, подыскивает, где бы лучше во мне

поместиться, жить, расти пышным цветом, устраивается у меня под ложечкой и копится там.

Она плакала неделями, месяцами. В солнечной тошноте проходило лето, мы по очереди стряпали, бегали за покупками, подрабатывали по мелочи: собирали обрезки металла, тряпки, пустые банки и сдавали их скупщику на Леки-роуд. В его сарае всегда было темно от громоздящегося хлама. Тачка на заднем дворе, задрав дроги, их концами ловила свет. Остальное тонуло в сизом мраке, и все здешние запахи наплывали вместе с ним, когда он к нам приближался, чтоб разглядеть добычу. Он ходил в замызганном подпоясанном плаще, в любую погоду подняв воротник. Волосы были густые, курчавые; мятые брюки; но ботинки всегда начищены. Он отсчитывал монеты, они звякали, но не блестели — из-за грязи. Мы их отмывали мылом в раковине, как будто высвобождая истинную их ценность, когда они начинали блестеть — темные, серебряные, желтые. Я всегда себя чувствовал богачом, когда выкладывал чистенькие монеты на каминную полку и показывал маме. Иногда она их брала, прятала в карман фартука, говорила: "Вот и хорошо. Добрые детки. Мои любимки". Но если потом попросишь у нее эти деньги на еду, она смотрела

недоуменно, и приходилось их выуживать из этого самого кармана и ей показывать. И тут она снова плакала. Я радовался, когда начались пасмурные дни. Так мне было легче, особенно если дождь и ветер хлестал в лицо, а я бежал из магазина, навьюченный картошкой, морковкой, луком, и круг круто соленого деревенского масла в холщовой сумке колотил меня по ноге. Когда выпал снег, я сломал руку, споткнувшись о полоз саней, врезавшихся в стену в конце нашей улицы. По маминой просьбе я снимал с перевязи неуклюжий гипсовый кокон, и она его гладила, будто ласкала руку под ним. Странно — я видел и слышал, как ее пальцы двигаются по гипсу, и не чувствовал ничего, только легкий нажим, и зуд кругами, как стригущий лишай, расползался внутри.

— Рай был недалеко, когда я умерла, — сказала она как-то в феврале, во вторник, — сказала в пространство, когда папа мыл посуду, а мы с Дейрдре ее вытирали и ставили на место. Я улыбнулся от ее этих слов. Я ставил на полку синюю тарелку с китайским узором, вытертую до блеска. Меня в первый раз как стукнуло, что когда-то она была влюблена. Голос был молодой и звонкий, и когда я пошел от умывальника на кухню посмотреть

на нее, она и вправду сама с собой улыбалась. Я оглянулся на папу, но он смотрел в мыльную воду, опустив туда большие неподвижные руки. Дейрдре похлопала глазами, показывая мне свое недоумение. Потом еще через несколько недель, как-то в пятницу в апреле, мама складывала простыню на гладильной доске и тем же голосом сказала:

— Недалеко. Я видела краешек.

Так она теперь разговаривала. Связанные замечания разделялись днями, неделями, месяцами, но всегда этот новый голос. Я понимал — она еще дальше от нас уходила, сама себе рассказывала истории, вдруг ей попадавшие на язык.

Она больше разговаривала с младшими — Джерардом, Эймоном, Дейрдре. Иногда прижимала к груди льняную голову Джерарда, наклонялась и этим новым своим голосом говорила ему в испуганные глаза вещи, которые меня зачаровывали, озадачивали. "Всю землю обойти и не сказать ни слова. Бедный трусишка. Одинокая душа". Я слушал и ему завидовал. Она доверяла ему и другим эти свои внезапные прорывы, а папу и нас с Лайемом отстраняла. Когда я как-то снял заднюю крышку приемника и пытался вернуть его к жизни, она нагнулась и щелкнула ногтем по

клапану. Кратко всхрипнуло, зажглось, погасло. От разряда загорелись слова и витали над нами, но она ничего не сказала. Я бросил внутренности приемника на столе, выхватил из комода резиновый мячик. После перелома мне было велено для восстановления мускулов сжимать этот мяч — раз-два, раз-два — как можно чаще. Я стоял, сжимал мяч и смотрел на нее, пока рука не разболелась. Мама говорила о том о сем, ни о чем. Вот жестокая! Я так мечтал, чтоб она поговорила со мной своим новым голосом, и она это чувствовала, но нет же. Я пошел наверх, сидел на кровати в холодной спальне, разглядывал Святое Сердце на картинке и понимал, кажется, чувства Иисуса с его разверстой грудью и пронзенной, кровоточащей мышцей, представленной там. В руке у меня все еще был мячик. Я запустил им по стеклу картинки, метя в сердце, и с первого раза попал. У меня в ушах был ее голос, молодой, гибкий, но я не разобрал слов. Я лежал на кровати и плакал. Она была влюблена в кого-то, не в папу. Вот что она говорила и не говорила ему. И говорила мне. А больше самой себе. Начался шторм, стоны чаек густо заполнили воздух, и тени крыльев взмахами уносили комнату в небо.

Как-то, через год кажется, она подошла к полке,

где стояли круглые белые коробочки с пилюлями, сгребла в фартук и показала мне. Попросила открыть и высыпать на блюдце. Я высыпал. Потом попросила все это бросить в огонь. Я бросил. Цветные четкие точечки, поблекнув, исчезли. Потом она принесла пять пузырьков — красный, синий, желтый, два прозрачных. Взяла с плиты кружку и все, один за другим, в нее опорожнила. Попросила понюхать. Я нагнулся, вдохнул.

— Пакость, — сказала она и покачала головой. — Химическая пакость. Меня от них тошнит. Как подумаю, что их принимала, сразу тошнит. Посмотри, что они сделали с моими зубами. — И показала, какие у нее стали гнилые зубы. Пошла и все слила в раковину. Вернулась и улыбнулась мне, но ее ослепительная улыбка пропала, давно пропала, и от нее плохо пахло.

— Мне теперь лучше, сынок. Но прежней я уже не буду. Бедный ты мой. Бедные вы Мои.

И прижала мою голову к своей груди. От нее еще веяло лекарствами, и я почувствовал, как она постарела, дыхание стало плоским, другим. Я быстро обнял ее, стыдясь своего стыда. Но вот уж когда мне ни о чем не хотелось спрашивать. В тот вечер, впервые за много дней, она приготовила ужин и даже говорила про День всех святых и

про Рождество. Ко Дню всех усопших ей вставили зубы, и опять у нее была сверкающая улыбка. Но, видя эту улыбку в тот вечер и потом, всегда, я слышал ее голос — "Горит, горит", надломленный мукой, и искал за ним другой, молодой и звонкий. Но он спал в своем склепе, спал вечным сном за сверкающей вставной улыбкой.

Эта страшная болезнь их состарила обоих. Папина физическая сила все еще была огромна, но я чувствовал, что он начал тяготиться ею. Иной раз, когда он задами возвращался с работы, мы поджидали его, стоя на заборе. Он идет вдоль забора, а мы к нему соскакиваем. Он всех по очереди ловит, как пушинки, сажает к себе на плечи, ныряет в калитку и снова нас усаживает на забор.

Но как-то, когда уже кончилась мамина болезнь, он поймал сперва Эйлис, потом Дейрдре, Джерарда, Эймоса, но прежде чем успели прыгнуть мы с Лайемом, тихонько их снял, поставил на землю и от нас отмахнулся:

— Не сегодня, дети. Слишком вас у меня много.

Он прошел по двору, следком оставляя сзади детей, и крепко ухватился за шест для бельевой веревки, и я смотрел на него, раскачиваясь, держась за круглую шишку. Лайем стоял на руках на

заборе со мной рядом и старался распрямить и сомкнуть ноги.

— Уходился человек, — он сказал вверх тормашками. — Совсем уходился.

Помнится, я отметил, как смешно в таком положении выглядит шевелящийся рот. Он перекувырнулся, ловко, на ноги, приземлился в проулке. И прибавил:

— Как и следовало ожидать.

Я кивнул, хотя ничего я такого не ожидал, тем более так вот сразу. Во всяком случае, пока он не сказал. Я осторожно слез с забора, будто с большой высоты, благодарно нащупав ногой надежный твердый суглинок. Но даже эта твердость подвела, когда я прошел в калитку и увидел в кухонном окне, как она, разговаривая, ему улыбается своими вставными зубами.

Половое воспитание
Сентябрь 1953 г

Духовный наставник школы пожелал меня видеть. Меня вызвали из класса. К отцу Ньюджженту в кабинет. Вокруг цвели понимающие улыбки. С каждым наедине проводилась эта беседа о половом воспитании. Почти альбинос,

Ниггер Кроссан ущипнул меня за ляжку, когда я пробирался мимо него, выходя из-за парты. Он нам такое рассказывал, что голова шла кругом. Отец Ньюджент его не вызывал. То ли смущался превосходящих знаний Ниггера, то ли его недосягаемой испорченности.

Хотя день стоял теплый, в кабинете пылал камин, с двух сторон охраняемый двумя креслами. Ньюджент был маленький, седенький, в пенсне, с сияющим, невинным лицом. Редко повышал голос, редко злился и ни разу, говорили, ни на кого не поднял руку. Спросил, не против ли я, если он закурит. Я кивнул. Он пошарил глазами спички, потом сказал, что ему это в общем-то вредно.

— Можно прикурить от огня, святой отец, — сказал я.

— О, как это верно. Прекрасная мысль.

Зажег сигарету с помощью газетного жгута, упал напротив меня в кресло, закивал сквозь синие кольца дыма. Потом, несмотря на сияние дня, включил лампу на столике рядом. Я поджарился, сидя у самого пламени, и, как мог ненавязчиво, затабанил по ковру, гребя каблуками. Кресло запнулось о складки. Я застрял. Он трудно, истово задумался, глядя на красные угли, я прокручивал в уме заученный по рассказам порядок беседы.

Сначала — жизнь есть тайна. Затем — воплощение: дух облекается плотью. Отсылка к Иисусу. К Его Матери. Ничего об Иосифе. Затем — к прародителям нашим Адаму и Еве. Грехопадение. И — к нашим собственным родителям. Затем, наконец, к этому, к самому акту.

Все так и произошло. Ты рожден, сказал он мне, завершая вводные части, от своих родителей. Я и сам это знал, хотя не понял, о чем тут надо особо оповещать. В результате, он продолжал, сексуальных сношений между твоими родителями. Я знал и это, но тут мое любопытство взыграло, потому что слышать я слышал, но не вполне себе представлял, что это такое. То, что я слышал, казалось мне маловероятным. Неужели эта выверенная механика и есть то, что церковь зовет блудом: дикое, острое, увлекательное, как пить и закусывать за столом, на котором танцуют под музыку? Я знал и не знал. Мне хотелось узнать и не хотелось. Хотелось узнать о другой, о более тонкой возможности "быть с женщиной", как он выражался, хотя я был не в восторге от его обиняков. И главное — мне хотелось бы, чтобы у моих родителей, вообще у того поколения, все было иначе; пусть бы, например, оказалось, что эти сексуальные сношения, если они и вправду

такие, существуют только для нас и чтобы не было потом стыдно смотреть им в глаза.

— ...сливаются в любви, — сказал он. Я кивнул одобрительно и спохватился, что почти все прослушал. Я решил быть внимательней, но именно в эту минуту ему понадобилось ворошить огонь длинной кочергой, и мы оба смотрели, как ворочаются, занимаются, вспыхивают угли. Я думал про девочку, которую обожал, Айрин Макай. Вот бы с кем я с удовольствием слился, если б только набрался храбрости подойти и заговорить. Отец Ньюджент описывал страсть. Любовь порождает страсть. Страсть изменяет тело. Пенис... Слышал я это слово? Знаю его? Я знал его, хоть никогда не слышал. Я бодро кивнул. Пенис? Значит, так это называется.

— Да.

Чуть погодя он сказал "вагина" и спросил, знаю ли я это слово и что оно значит. Кое-что я предполагал, хотя мои соображения меня не вполне устраивали, и когда он спросил, знаю ли я, где это, я с легким нервным смешком сказал — знаю, знаю, а сам себе говорил — не знаешь ты, спроси у него, балда, для того ты тут и сидишь, и только без конца кивал в ответ неизвестно на что и молча смотрел, как туда-сюда, вверх-вниз ходили губы,

зубы мелькали и прятались в очках вспыхивал огонь, злобно рдели глаза, и он из-за этой своей черной сутаны казался странным зверьком с пылающими глазами, урча готовящимся к прыжку.

— Происходит эрекция, пенис входит в вагину и исторгает семя.

Эрекция? Исторгает… Господи боже.

Отец Ньюджент поднял брови. Потом сообразил.

— А-а. Эрекция. От латинского erigo, erexi, erectum, erigere — ставить прямо, поднимать. И он посылает семя.

Я удивился. Довольно долгая процедура.

Он его ей посылает? — хотелось спросить. В чем? В конверте? В таком пакетике? Господи, что он мелет, этот шизик.

— Ибо орган по-гречески, напомню тебе, — инструмент.

Спасибо, святой отец. Итак, он его выбрасывает, как копье. А семя — от латинского semen. Не для того ли мы учим латынь и греческий? Он ей говорит: "Ну вот. Орган — греческое слово. Семя — латинское". Без латыни один грех. Любовь требует латыни, блуд — не требует. Я перебрал все слова — не латинские, — какие слышал на улице. Они куда крепче звучали.

— Теперь ты понял? — Он глядел так ласково, что у меня не хватило духу сказать "нет", я был в растерянности, не разобравшись, в чем суть знаменитого акта и как мои родители обходились без знания латинских корней. Наверно, таинство брака сразу осеняет тебя, и ты действуешь так, как того требует Церковь. От этой мысли я просиял, и он принял мою мину за знак согласия.

— Теперь ты понял?

— Да, святой отец.

Семя во чреве вырастает в ребенка. Чрево понятно из молитвы Пресвятой Деве. По-английски, по-латыни. И по-ирландски. С этим как раз все ясно. Я поджарился с одного боку, вспотел под правой коленкой. Он смотрел на меня выжидательно. Наверно, что-то спросил. Подняв брови и вытаращив глаза, я старательно изображал работу мысли.

— Не так ли?

Скорбящая Матерь Божья, что — не так ли? Может, мне упасть в обморок от жары? Хоть бы кто постучался. Прежде чем успел отлепить язык от нёба, я благодарно услышал, что он продолжает.

— Большинство мальчиков в твоем возрасте о таких вещах не помышляет.

Вот тут вы ошибаетесь, кричало все во мне.

Большинство не помышляет ни о чем другом. Но насчет меня вы правы, я нормальный.

— Это только потом они себя спрашивают, а как же мой целибат и откуда человеку, давшему обет безбрачия, знать такие вещи.

Я совсем запутался. Я думал, он говорит о сексе. Обет безбрачия. Целибат. Кому интересно? Целибат — странный запах власти с мылом — и все. Итак, продолжал он, когда я попозже призадумаюсь об этом, — да о чем? — мне захотелось крикнуть, что зря он беспокоится, — так вот тогда я пойму, что есть два пути: можно посвятить свою жизнь человеку, а можно Богу, и пути эти близки, так как основаны оба на любви, на любви совершенной. Он умолк. Это слово я уже слышал в день нашей с Лайемом конфирмации. Конфирмация. Самая жуть — это ждать, что вот-вот епископ, плывущий мимо по проходу в сопровождении двух священников и мальчика, держащего ему шлейф, выхватит тебя из толпы. То и дело он останавливается на своем пути к алтарю, озирает ряды и в кого-нибудь тычет. Отмеченного выводят, ставят в конце ряда, и там он вместе с учителем стоит и ждет, пока епископ проплывет в алтарь, сядет на трон, расправит ризы и подаст знак. Все съежились и уставились

в пол. Вот: остановился в конце нашего ряда. Я чувствую на себе ощупывающий взгляд, указующий перст. "Тебя, — шепчет Лайем. — Он на тебя показывает". Я вижу толстый палец. Учитель ко мне пробирается вдоль ряда. Кладет руку мне на плечо. "Это не меня, сэр. Он на Кэмпбелла показывал". Жирный Кэмпбелл вонзает локоть мне под ребро. "Нет, детка, — говорит учитель. — Это тебя. Не бойся. Все будет хорошо".

Нас пятерых ведут в алтарь. Мы первые станем воинами Христовыми, членами Церкви, воюющей на земле. Он коснется наших щек (это прообраз ударов, какие нам предстоит претерпеть, отстаивая свою веру), а потом укрепит, начертав на лбу у каждого знак креста. Но сперва этот случайный отбор призван показать, насколько подготовлен весь класс в учении Церкви. Каждый преклонит колено перед епископом, он нагнется, задаст вопрос, ученик ответит, его конфирмуют и отведут в боковой придел, где на глазах у толпящихся возле боковых скамей взрослых он будет ждать, пока ему не позволят вернуться на место. Я — последний в пятерке.

В алтаре сладко пахнет ладаном. Меня слепит золотое сиянье епископской робы, золотой скипетр, поднятый правой рукой. Вот он коснется

меня, и я сам превращусь в золото, застынет лицо, ноги отяжелеют, тело станет драгоценным и мертвым. Он мне улыбается.

— Скажи, дитя мое, каково главное чудо нашей веры?

— Вочеловеченье Христа, ваше преосвященство.

Это легко. Надежно вызубрено в классе.

— Что значит вочеловеченье? Ты мне можешь сказать?

— Облечение человеческой плотью. Бог стал человеком.

— Отлично.

Отец Браун трясет ободряюще седыми космами из-за трона. Пухлая рука епископа тянется ко мне. Меня разбирает смех, живот сводит от мысли, что сейчас он дотронется до меня и все будет кончено. Лицо у меня дергается. Епископская рука застывает.

— И последний вопрос. Какова природа любви Бога к человеку?

Я разглядываю его облачение. Ни слова не приходит на ум. У меня холодеет под ложечкой. Отец Муллан хмурится по другую сторону трона. В переполненном соборе за моей спиной — мертвая тишина. Она окатывает меня жаром, я

взмокаю от пота. Решаю разреветься. Нет, лучше ответить. Да, но я ведь забыл. Что он спрашивал? А-а, вспомнил.

— Она совершенна, — шепчу я.

Все улыбаются. Епископ легонько ударяет меня по щеке, трет большим пальцем мой лоб, бормочет на латыни.

Я все стою на коленках. Отец Браун делает мне знаки, что надо встать. Я стою зачарованный.

— Совершенна, — повторяю я.

— Ты можешь встать. Учитель тебя проводит.

Но я не могу шелохнуться. Я вправду стал золотым. Все тело у меня стало твердым: слитком. Меня поднимают, уносят из алтаря и так, коленопреклоненного, прислоняют к стене в боковом приделе. Отец Браун касается моего плеча, я тут же встаю, учитель меня подхватывает под локоть, влечет туда, где стоят уже остальные четверо, оставляет с ними, и по голове у меня бегают мурашки, и слово "совершенна" уходит, возвращается, как луч маяка, гаснет, вспыхивает во мне, пробегает по уставленным в меня лицам, прячется в звуковых волнах, тонет в хоре. Ко мне впервые в жизни обращался епископ.

Ньюджент еще говорил.

Он отрекся плоти во имя духа, говорил он.

Плоть хороша, хороша в себе, но не сама по себе. Существенная разница.

Я соглашался, я бодро тряс головой.

Беда плоти в том, объявил он, что она, как аппетит, как голод, взыгрывает, насыщаясь.

Откинулся в кресле, посмотрел на меня выжидательно. Как взыграешь не насытившись, размышлял я, но снова он выжидательно улыбнулся, и я спохватился, что не слышал вопроса. Шум в голове меня оглушил.

— Ты знаешь ведь фразу насчет голода и утоленья?

Я смотрел на него во все глаза. Что такое я должен знать?

— Шекспир, по-моему. Из какой-то пьесы[6].

Из какой-то. У него же всего одна? "Венецианский купец", мы его третий год проходим и повторяем. Вот ненормальный. Самому бы с ума не сойти.

Он подался вперед, я, как мог, вжался в кресло. В очках загорелись огни.

— Секс без любви подобен убийству. Ты убиваешь собственную плоть и плоть женщины, с которой совершаешь безлюбовный акт. И, убивая

---

[6] notes: 6

"Она к нему влеклась, как будто голод рос от утоленья". "Гамлет", акт 1, сц. 2. (*Перев. Б. Пастернака.)*

плоть, ты убиваешь также и душу.

Он откинулся назад, очки потухли. Мне понравилось его это "также". Четко, официально. Он продолжал:

— ...злоупотребляя самым своим дивным даром, даром рождения новой жизни. Ничто с этим даром не может сравниться, кроме любви, источника жизни, и любовь эта в Боге, но любовь, которую пробуждает в нас жизнь, она тоже от Бога, конечно, и она формирует и освящает нас во все наши дни.

Он умолк и передохнул. По-прежнему я кивал, однако едва заметными, но определенными телодвиженьями в кресле давал понять, что считаю спектакль оконченным.

— И еще. Что касается женщин. Прежде всего избегай грубости. Только так ты станешь настоящим мужчиной. Тут неуместна сила. Борьба. Спорт. Деньги. Многие твои товарищи... как бы это сказать? Бравируют, да? Щеголяют своей развязностью. Ты понимаешь? Избегай этого. Иди с миром.

Он встал и, бегло перекрестив, на миг опять пригвоздил меня к креслу. И проводил до конца коридора между обитых зеленым сукном дверей. Я выскочил и побежал напрямик, задами,

в надежде перехватить Айрин Макай, когда она пойдет домой обедать. Только глянуть на нее и себя уговорить, что она на меня поглядела. Я бежал и себе представлял, как отец Ньюджент неверной рукой прикрывает дверь и в выцветающем свете высоких окон и своей лампы разглядывает два кресла возле камина, пустые и немые после всех откровений.

Кино
Ноябрь 1953 г

Мы смотрели "Beau Gest"[7]. Идею поставить убитых воинов французского легиона вдоль бруствера мы, в общем, одобрили, хотя были споры о том, могут ли мертвецы стоять с ружьями в руках и могут ли африканцы на такое купиться.

Обет свирепого сержанта стал лозунгом, мы его выпевали всякий раз, проходя компанией по территории протестантов, вклинившейся между школой и нашими улицами.

"Каждый в Зиндернефе исполнит свой долг,

---

[7] notes: 7

Букв.: красивый жест *(франц.).* Но здесь Жест — фамилия, Бо — прозвище. Фильм поставлен в 1939 г. американским режиссером Уильямом Уэлманом по одноименному роману П.К Рена. В заглавной роли Бо Жеста снялся Гари Купер.

живой или мертвый. Мы заставим арабов поверить, что у нас тысячи воинов".

Наш историк не понимал, как можно увлекаться такой английской снобско-недоумочной чушью. Три брата. Похищенный бриллиант. И эта тризна викингов в финале по мертвому герою! Название одно чего стоит! Beau Gest! Лучше бы мы проштудировали посерьезней связи ирландцев с французским Иностранным легионом. Джон Девой, например, великий организатор фениев[8], в юности вступил в этот легион, чтобы иметь военный опыт для борьбы с англичанами. Французы всегда были наши друзья, сказал он.

Да, так говорится, сказал папа. Но на самом деле не все равно разве — та империя или другая? Франция и Америка были республики; и нечего республикам заделываться империями. Настоящие бы республиканцы до этого не допустили. Хотя, он спросил с отчетливой горечью, кто когда настоящего республиканца видал? Они даже реже попадаются, чем настоящие христиане.

И, зашуршав газетным листом, он опять заслонил лицо.

---

[8] notes: 8

Фении — ирландское революционное общество, основанное в 1858 г. в Нью-Йорке для борьбы за независимость Ирландии. Восстания фениев в 1867 г. потерпели неудачу.

Твой брат, его-то ты видал, мне хотелось сказать. Твой родной брат. Был республиканец. Но та никогда не узнаешь.

Вместо этого я спросил, почему Девой присоединился к французам в их борьбе с арабами, чтоб потом бороться за Ирландию против Британской империи. Папа пожал плечами. Кино, видно, чересчур много смотрел, засмеялся он.

Но каждую вторую субботу, когда наша футбольная команда играла на выезде, мы ходили в кино, в "Городской" или в "Святого Колумба". Както в праздники, когда не было занятий, пошли на шестичасовой сеанс. Айрин Макай наконец согласилась пойти со мной и со всеми нашими. Она еще встречалась с Гренейганом; но раз шли компанией, рассудила, что может со мной пойти. С этим Гренейганом лучше было не связываться, хоть он и прихрамывал. Я решил пока не думать о нем. Она сядет со мною рядом. Чего еще надо? По мою правую руку сели Харкин и Моран. Слева от Айрин был Тонер со своей Шейлой, дальше О'Доннел. Вместе со всеми мы похихикали над рекламой и журналом о том, как колосится, зрея на канадских полях, пшеница. Но вот началось настоящее кино — триллер. Я продвинулся ближе к Айрин, она уютно прислонилась ко мне. Сзади

кто-то постучал по моему стулу, засмеялся.

— Эй, вы, ведите себя прилично, — сказал мужской голос.

Мы покраснели и слегка отшатнулись друг от друга. Харкин, долизывая рожок мороженого, шепнул:

— Только скажи, я развернусь и его уделаю. По роже съезжу.

Айрин глянула на меня в ужасе.

— Нет. Забудь. Давай смотреть.

Погодя, когда начал разматываться сюжет, О'Доннел на спор объявил, что будет дальше и кто убийца.

— Кто говнюк, который в спальне засел? На шесть пенсов спорим — это тот здоровый, в очках.

— Папаша ее? Ну ты даешь! Монету покажи, я согласен, — шепнул Харкин через меня и Айрин. Рука О'Доннела из мрака блеснула монетой на ладони.

— Идет. — Харкин показал встречный шестипенсовик.

Застигнутые дрожащим экранным сполохом, мы вжались в стулья. Героиня на кухне варила кофе.

— Кофе от чая чем отличается? — шепнула

Шейла.

— Сравнила, — смутился Тонер. — Две разные вещи.

— А ты почем знаешь? — хмыкнул О'Доннел по другую сторону. — Ты в жизни кофе не пробовал.

— Пробовал, почему. На американской базе. Я им из липтонской лавки кое-что носил, и они мне кофе давали. Сколько раз.

— Тихо, вы, — тот же голос сзади. — Люди картину хотят смотреть. Деньги плочены.

Билетершин фонарик плясал вдоль ряда, мы прятали лица. Вокруг шикали. Действие достигло своей кульминации. Детектив допрашивал подозреваемого.

Моран перегнулся через нас с Харкином, зашептал:

— Анекдот про чукчу-детектива слыхали? Вопрос к подозреваемому: "Где вы были в ночь с двадцать первого сентября по двадцать первое марта?"

Тонер расхохотался вслух.

— До меня не доходит, — сказала Шейла.

— Ничего. Мы тебе потом объясним. Ох ты господи.

— В чем соль? — шепнула мне на ухо Айрин.

— Он плохо рассказал. Я тебе после объясню. —

У меня заныло под ложечкой. Не понять такого?

На экране повернулась дверная ручка, дверь в прихожую приоткрылась. Мелькнула рука в перчатке.

Нат уходил. Дверь открывалась шире.

— Балда, — рыкнул Моран. — Он же в спальне засел. Задержись ты, поговори с этой дурой.

— Шш, — опять тот, сзади.

Через несколько рядов за нами рыдала девушка.

— Ее же убьют. Почему никто ей не скажет?

— Эй, мисс, вас убьют, — крикнул Харкин.

Кто-то засмеялся, но больше шикали, фонарик стрельнул по нашему ряду, несколько секунд помедлил. Айрин схватила меня за плечо. Я продел руку под ее локоть, наши пальцы сплелись.

Герой, стоя в дверях, собирался уйти.

— Нет, нет, нет, — взвыли мы хором. — Идиот. Ты ее с ним запрешь. Он же в спальне.

— Ну, теперь ей хана, — объявил Тонер.

Шейла заплакала. Айрин стиснула мою руку.

— Не могу. Не буду смотреть. Ты мне потом расскажешь.

— Сейчас же самое интересное!

Но она уткнулась лицом мне в плечо, не смотрела. Зал притих.

— Господи, и правда папаша, — охнул Тонер, когда камера застыла на фотографии героинина отца.

— Гони шесть пенсиков, Харкин. — О'Доннел хлопнул в ладоши.

Убийца стянул с лица маску. Действительно — ее отец. Я содрогнулся. Забыл про Айрин.

— Папка ее? — не веря глазам, взвизгнула Шейла. — Не может он убить родную дочь. Зверюга! — заорала она в экран. Вокруг хохотали.

Герой веско поднимался по лестнице, вытянув револьвер.

Выстрел, объятье. Конец.

— Да, хорошо! — сказал Тонер, когда зажегся свет. — Я с самого начала догадался.

— Фига два догадался ты, — хмыкнул Моран. — Ты ж на того думал, в кафе. А ежу понятно было, что это папаша.

Я остановился с Айрин у себя на углу, потому что у нее, она думала, мы скорей могли напороться на Гренейгана. Мы стояли под фонарем. Мне была видна наша дверь, я туда поглядывал, опасаясь, как бы кого не понесло выставлять бутылки для молочника. Мы поцеловались — один раз, очень нежно. Наклоняясь для второго поцелуя, я обдумывал, не предложить ли ей уйти от света,

на зады. Из-за забора над нами выросла тень; Айрин еще не успела отпрянуть, а я уже понял: Гренейган.

Надвигался мутным пятном. Дверь открылась. В желтом прямоугольнике света был папа. Я его ясно видел. Гренейган стоял, смотрел. Папа смотрел на нас. Потом отступил в дом, оставив дверь открытой. Гренейган бросился на меня, схватил за шиворот. Потом уже был Лайем, еще кто-то: Харкин, Моран, О'Доннел. Метнулись к Гренейгану, он развернулся, прыгнул через забор, канул в поле. Никто не побежал за ним в темноту. Лайем меня прислонил к забору.

— Где Айрин? — спросил я.

— Айрин? Он еще спрашивает. Мимо нас дунула по шоссе. Ни звука не сказала. Подставила тебя Гренейгану.

Я затряс головой. Не может быть. Не такой я дурак. Айрин, правда, с тех пор избегала меня, а я так и не решился ее преследовать, чтоб расспросить напрямик. Папа оттянул мне губу и разглядывал кровоподтек внутри.

— Стал под фонарем задом к темноте! Нарочно, что ли, набивался? Ты уж поосторожней. Да и мал еще за девочками бегать. Лучше на уроки бы налегал. И подальше держись от Гренейгана и

всей этой бражки. Слышишь?

Вошел и закрыл входную дверь на засов перед тем, как нам лечь спать. Дом стал маленьким, тесным, в голове у меня гремело.

Призраки
Декабрь 1953 г

Тут вот какая история, так объяснял мне Лайем, почему лучше не связываться с Гренейганом. Ты уже слышал, он сказал, всю эту бодягу насчет отца Брауна, который изгонял духов в нашем приходе, и как у него волосы за одну ночь поседели, когда он боролся с дьяволом. Неизвестно, на кого стал дьявол похож за одну ночь после схватки с этим маньяком. Короче — это все про их семейку, Гренейганов. Много-много лет назад Джимми Гренейган, дедушка твоего красавца, влюбился в одну женщину по имени Клэр Фокнер. Ну а он был жутко зажатый и не осмелился ей ничего сказать, хоть она сама все знала. Нравы были строгие в начале века. Она не могла взять и ему сказать, а он краснел от одной мысли, что можно подступиться к ней, вообще к любой женщине, с разговором. Лучше любить и не сказать, чем

вечно говорить[9], и Лайем хмыкнул.

Клэр ждет-пождет. Гренейган смотрит на нее и молчит. Фокнеры его не очень жаловали. Он был, в общем, недоделанный. Собственной тени боялся и все улыбался, говорят, чудно, без причины. Как прощенья просил за то, что родился на свет. Кому нужен в семье такой обормот? Ну и Клэр в конце концов ждать устала, за нее посватался другой, Данно Бридин, и она за него вышла. Бридин служил в торговом флоте, часто уходил в море, иной раз по восемь месяцев в году его дома не было. Родилось у них трое детей, две девочки и мальчик. И тут Джимми Гренейган вдруг всех удивил — взял и уехал в Англию, искать работу. Никто не верил, что у него хватит духу купить билет и оторваться от мамочкиной юбки. Но духу хватило, и несколько лет он отсутствовал. И — мало этого — вернулся в Дерри отличным мастеровым и сразу нанялся в литейную. Он сделался совсем другой, не узнать, ничего общего с прежней затрушенной овечкой. У него и внешность изменилась, даже походка, приоделся, стал говорить уверенно. Англия на него исключительно хорошо повлияла. Но по-

---

[9] notes: 9

Перевранная до бессмыслицы цитата из "In Memoriam" Теннисона (1850): "Лучше любить и потерять, чем не узнать любви".

прежнему он и не взглянул на другую женщину. Наоборот, повадился к Клэр, чуть ли не вторым отцом для детей заделался, накупал подарков, водил ее аж на рождественскую пантомиму, а то за город погулять. Люди затаились, шептались. Но вот, в войну это было, приходит извещение, что судно Данно Бридина затонуло у берегов Аргентины и вся команда погибла. Клэр и Джимми полгода ждали, а потом он вселился в дом. Они не венчались, просто зажили вместе. Ходил к ней священник, чуть плешь в голове не проел. А она знай себе слушает и кивает. Но как-то пришел он, а Джимми встал на пороге и его не пустил. Сказал — не его это дело. Соседи многие с ними порвали. Больше не знались с Джимми, и с Клэр заодно. Ей даже хуже пришлось, она с утра до вечера жила на этой улице. Он-то пропадал в литейной, стал уже мастером, и там никто ему, конечно, не говорил худого слова. Ну а потом вернулся Данно Бридин. Во время кораблекрушения его ранило, он остался хромым и больным. С флота его списали. Но хромой не хромой, он вернулся, а в гнезде у него сидит, значит, этот куку.

Клэр с Джимми, видно, правда любили друг друга, потому что она отставила Бридина. Так, мол, и так, сказала, и семья у них была не семья,

и дома она его видела раз в год по обещанию. И вообще — он ей изменял, мол, люди ей точно докладывали. Скандал был страшный. Бридин бы мог отсудить у нее дом. А он — нет, только снял комнату у хозяйки-вдовы напротив и целыми днями сидел у окна и смотрел через улицу на свой собственный дом, на родных детей. Ни с кем не общался. Не выходил. Сидел, сидел и смотрел на то, что с его жизнью сталось. Над этой улицей — над Веллингтона — как тучи сгустились. Никому было не интересно проходить между двух этих домов, даже Клэр выходила черным ходом и задами кралась к Вязовой, чтоб не видеть мужней скукоженной физиономии. А Джимми — тот на него внимания не обращал, даже нарочно встанет, бывало, на пороге с сигаретой после обеда, чтоб показать, что ему плевать с высокой горы. И вот в один прекрасный день Бридина в окне не оказалось. Слег. Еще помаялся. Доктор сказал — нет надежды. Короче, он умер. На похоронах черт-те что творилось. Родные Бридина заявили, что слышать не желают о том, чтоб Клэр с детьми пришла с ним проститься. Когда трогался катафалк, лошади вздыбились и заржали как с перепугу, гроб трясло и мотало за стеклом. Потом эти родные обстреляли запертую дверь Клэр

и Джимми плевками. Камнем разбили окно. А мать Бридина стояла перед этой дверью, кляла всех, кто внутри, долго, упорно за то, что сгубили жизнь ее сыну. Чтоб им ни дна ни покрышки, и счастья им не видать на этом свете, ни покоя на том. Пусть нужда и забота их терзают до седьмого колена. Пусть проклятье во веки вечные обрушивается на их кров. Пусть до скончанья дней своих они видят денно и нощно его лицо, и все это она кричала хриплым, севшим голосом закрытой двери и занавешенным окнам, пока ее не оттащили.

На время все успокоилось. А потом соседи стали поговаривать, что слышат из дома странные звуки, как гром перекатывается и гремит. Дети плакали, жаловались. Мол, дверь иногда не могут открыть, когда хочется выйти, будто кто нажимает снаружи. Клэр состарилась, ходила запуганная. Пошла к священнику, тот сказал, что ничем ей не может помочь, пусть сперва прогонит Джимми. Короче, пришел как-то Джимми с работы домой. Он людям говорил, что якобы дом этот свой они с Клэр решили продать, да люди-то знали: кто ж его купит? Кому он нужен? Потом по привычке вышел он с сигаретой и стал смотреть на пустое окно через улицу, из которого, бывало, смотрел

Данно Бридин. И перед тем как щелкнуть бычком в сточный желоб и уйти в дом, он, люди говорят, задержался на пороге и что-то крикнул такое — то ли выругался, то ли позвал Бридина — в пустое окно. И ушел. А наутро находят его под лестницей со сломанной шеей. Полиция объявила — несчастный случай. А через полгода Клэр умерла в своей постели; на лице у нее был ужас, и никаких следов на теле. Детей забрала родня Гренейгана. Фокнеры слышать о них не желали.

Но дело на этом не кончилось. У Гренейганов и у Фокнеров всегда в домах водятся призраки и творится неладное. То в спальню по лестнице не заберешься, то не сойдешь вниз. Никого не видно — ан какая-то сила никому не дает шелохнуться, трясет дом и после себя оставляет странный звук, будто кто плачет вдали.

Люди говорят — никто в этих семьях не должен жениться. Пускай все перемрут. Только так ублажишь призрака. А и не женятся — все равно. Пускай лучше уезжают. Пускай мужчины станут монахами, женщины будут монахинями. От мести никуда ты не денешься. Никогда.

Так что, Лайем сказал, ты еще дешево отделался. Макаихе твоей не мешает мозги проверить, раз она встречается с Гренейганом. Если она еще

встречается, конечно. Нормальный человек не станет с ним связываться, ни воевать, ни дружить. Он не то что сволочь — он страшный. Ты от него подальше. В нем кровь дурная. Если ты веришь, конечно, во всю эту хреновину, прибавил он.

Самоуглубление
Март 1954 г

"...попирая самое идею и суть Самоуглубления", — были слова президента. Он сидел за столом с деканом ошую и одесную с отцом Ньюджентом, духовным наставником. Мы с Мораном стояли, заложив руки за спину, разглядывая троих священников, разглядывающих нас, и все вместе не вполне понимали, что должно воспоследовать дальше. Президент считал себя исключительно прямым человеком, но на его открытое добродушное лицо всегда набегала туча, если прямота его оказывалась невостребованной. Опечаленный отец Ньюджент, кажется, все-таки забавлялся. Я видел, что не так уж он глубоко потрясен. Отец Маколи — дело другое. Этот жаждал кары. Щуплый, чернявый, закомплексованный. Когда заменял заболевшего или почему-то отлу-

чившегося латиниста, он ляпал грамматические ошибки, и мы считали своим долгом нижайше, учтивейше на них ему указать. Мы с Мораном особенно при этом старались.

Нас видели, когда мы уходили из школы во время Ежегодного Духовного Самоуглубления и отправлялись в Брандел на субботний футбол смотреть финальную встречу с "Линфилдом", протестантской командой из Белфаста. Оба мы глубоко сожалели, что нас видели, но не могли сожалеть о том, что ушли из школы, потому что наша команда выиграла на последней минуте.

Декан объявил, что, с его точки зрения, физического наказания недостаточно. Порка вещь скоротечная. Взамен предлагается нечто более длительное, более соответственное преступлению. Решено, сообщил он мне и Морану, назначить нам месячный курс духовного чтения. Мораном будет руководить отец Ньюджент, за меня берется сам декан. Текст — Духовные Упражнения святого Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов. Итак, оба мы будем ежедневно в течение месяца оставаться после уроков.

Неделя вторая, четвертый день, размышления о двух полюсах: Христос, Господь и Вседержитель наш; и Люцифер, смертный враг рода человече-

ского.

Метод декана был прост. Он выбирал отрывок, я его зубрил наизусть, декламировал, он велел мне над этим поразмыслить, и я уходил зубрить дальше. Строгая пропорциональность и страсть избранных мест были так выразительны, что я куда больше извлекал из них удовольствия, чем, наверно, хотелось декану, хотя их четкость меня пугала.

Пункт первый — вообразить врага рода человеческого, сидящего на великом поле Вавилонском, как на стуле огненном, мерзкого и страшного видам.

И — напротив того:

Пункт первый — представить себе, как Христос Бог наш ступает по великому полю подле Иерусалима, в месте покойном, красивом и приятном.

И вот Сатана шлет своих демонов, Христос — своих апостолов; Сатана искушает нас богатством, почестями, гордостью; Христос искупает нас бедностью, презрением к богатству, смирением. Правила, как сделать должный выбор в этой жизни; шесть пунктов первого раздела, и во втором разделе — четыре правила и пояснения.

Первое правило — совершать выбор, руководясь любовью к Богу. Во втором правиле было упражнение.

Поставить перед собой человека, которого я никогда не видел и не знал, и, желая его совершенства, подумать, что бы я советовал ему избрать ради вящей славы Божией и вящего совершенства собственной его души, и сходным же образом самому руководиться правилом, предложенным другому.

Третье и четвертое правила требовали, чтобы мы подумали о том, какое решение приняли бы мы перед самой кончиной живота нашего или — уже на Страшном судилище Христовом — какой тогдашний свой выбор мы бы сочли верным.

Я ему декламировал эти пассажи у него в кабинете изо дня в день целый месяц, сидя на стуле, а он в кресле напротив смотрел в текст. Он уставал гораздо быстрей меня. Лойола был приноровлен к бедам и ужасу; декан — не был. Он кивал и кивал, сосредоточенный на точной передаче слов и мало занятый смыслом.

"Упражнения" были прозрачны и тонизирующи. Из них вырастал человек, некто, кого я не знал и не видел, во всем совершенный и в соот-

ветствии со своим совершенством делающий выбор.

Он был звездой, несомненной, но мутной, постоянно сводящей на нет свою замутненность и проясняющей свою несомненность, принимал одно решение за другим, зная тем больше, чем больше это знание стоило ему трудов. Но когда я так вот его воображал, я видел заодно и себя в мерцании света и тени, видел папу, Эдди, заново узнавал маму, и они мутились и гасли, а сам я мутился и путался, не в силах принять решение. Я лежал ночью без сна с открытой книгой у подушки, в темноте спали братья, в ушах у меня стоял рев стадиона, летел в ворота решающий мяч, декан входил в класс, и, шаря по моему нутру, радар чуял огонь, и решения вылетали со свистом из Вавилона Лойолы, из Иерусалима, летели в цель.

Публичный дом
Апрель 1954 г

Прямо рядом с детским входом на наше футбольное поле стоял дом, шторы на окнах всегда были спущены, и говорили, что это публичный дом. Лайем уверял, что так оно и есть, он даже знает фамилии мужчин, которые туда ходят, кое-

каких женщин знает по имени. Один, например, человек, почтовый инспектор Чарли Маккейб, ходит туда каждый вторник А сам видная фигура в приходе — собирает деньги на благотворительность, вечно ошивается возле церковных. Говнюк. Я не поверил. Лайем, я и Тонер с Харкином поспорили. В результате я согласился на спор пойти в этот дом и "выкурить" Маккейба.

Мне причиталось два шиллинга, если я подойду к двери, постучусь и вызову "моего дядю" Чарли Маккейба по срочному делу.

Если Маккейб не выйдет — деньги остаются у Лайема. Он показал мне их на ладони, сказал: "Ну, двигай". Я прошел к дому в конце тупика налево. На двух разделенных дверью передних окнах были спущены шторы. Я постучал. Была долгая пауза, потом дверь открыла растрепанная молодая женщина — синяя блузка, юбка. Полыхающий от помады рот. Спросила, чего надо, я сказал, что пришел за дядей, Чарли Маккейбом, он срочно нужен. С дочкой несчастье, сказал я. Смутно улыбаясь, она оглядела меня и спросила, что же стряслось с этой дочкой. Я, как дурак, не подготовился к такому вопросу. Заболела, выпалил я. В больницу, наверно, возьмут.

Оставив меня у двери, она отступила в кори-

дорчик, скрылась в комнате. Я услышал: ее голос, потом хохот. В дверь выглянула мужская физиономия, глянула на меня, исчезла.

Еще голоса. Потом вышел другой, кряжистый, застегивая — или это он расстегивал? — ремень. Полосатая рубашка без воротника, вельветовые штаны. Остановился от меня в двух шагах, спросил, кто я такой. Я себя выдал за Рори Харкина. Где живу? Я опять наврал. На Росвил-стрит. На Росвил-стрит Харкинов нет, бросил он без выраженья, все еще держась обеими руками за концы ремня. Я попятился. И Чарли Маккейба нет в этом доме. И никогда не бывало. И дочери у него нет. Меж тем мы двигались оба. Его рука рванула меня за рубашку, я отскочил, взвизгнул ремень, я бросился к углу, где для бега изготовились остальные. Мы не останавливались, пока не добежали до своей территории, до наших горбатых улиц. Когда пробегали поверху Буковую, видели Ларри, он, как всегда, стоял руки в карманы и смотрел на Блай-лейн. Лайем сказал, что Ларри бы очень невредно сходить в тот бардак. Совсем, бедняга, задвинулся на своей дьяволице. Просто боится секса мужик, у взрослых бывает. Я вгляделся в Ларри. Он стоял застыв, без движенья. Я мог понять человека, который боится секса. Это как

пламя: вспышки жажды, темноты и западни.

— Ей-богу, не жалко двух монет, — Лайем их встряхнул. — Давай благородно поделимся. Моя идея, ты исполнитель.

На самом деле это публичный дом? Вот в чем суть. Это был Маккейб или нет? — хотел знать Лайем. Он не успел разглядеть, видел только — выходит мужик, в одной руке ремень, другую вытянул — меня сцапать. Нет, это не Маккейб, я ответил. Кто-то еще. Я только руки помню на пряжке. Девушку я тоже не знал, но я запомнил все-все: заспанность, смутную улыбку, пронзительно красный рот. Интересно, как с ней это самое? Я не представлял. Нет. Представлял. Но нет, я не собирался. Ведь вот что случилось с Ларри Маклоклином: вечно стоит смотрит на Блай-лейн, ни слова не говорит. Для большей безопасности я у себя в комнате шептал Игнатия Лойолу:

Тем, кто от одного смертного греха переходит к другому, враг рода человеческого предлагает явственные удовольствия, обольщает их видениями чувственных наслаждений, дабы их крепче связать и заставить их множить грехи и пороки.

Но образ той девушки все равно носился передо

мной, то смутный, то проясненный, она подходила ко мне, она расстегивала пряжку на юбке, и юбка шуршала, соскальзывала, и я отскакивал, я опять приближался, затуманенный изнутри, я делал выбор.

Кэти
Май 1954 г

Кэти ездила в Англию, в первый раз куда-то выбралась — дочь, Мейв, вышла замуж. По этому поводу много шушукались: почему домой венчаться не явилась, как у людей положено; почему поехала одна Кэти, хотя были званы все братья и сестры.

"Она за черного вышла, — сказал мне Лайем, — и он, говорят, даже не христианин, не то что там католик. Ну и они все сразу — на баррикады. А Кэти молодец. Ей это, может, тоже не подарок, а взяла и поехала, хоть до смерти боится одна ездить". Свадьба состоялась в Лутоне, его как раз мы знали, там была футбольная команда — правда, не ахти.

Вернувшись, Кэти не закрывала рта, рассказывала про Англию, Лутон, поезда, пароходы, свадебный завтрак, про Мейв и ее мужа Марка,

и какую они сняли квартиру чудесную, и как они счастливы. Но все напрасно. Мама осталась недовольна и сказала Кэти, что, конечно, желает Мейв счастья, но это не христианская свадьба и добра от нее не жди. Были бешеные дебаты. В конце концов Кэти объявила, что ноги ее не будет в нашем доме, и ушла, хлопнув дверью.

Сто лет ее не было. Но вот пришло известие, что Мейв беременна. Мысль о внуке потрясла Кэти. Она металась, дергалась, больше ни о чем не могла говорить. И снова мама нарвалась на ссору, высказав опасение, как бы Марк не бросил Мейв. История повторяется. Макилени сбежал от Кэти, как бы Марк не бросил Мейв. Я провожал Кэти на ночь глядя от нас домой, и она вся кипела по поводу этого замечания. Какое же сравнение, говорила она мне. С ней-то произошло ведь что-то непонятное. И зря моя мать принимает ее за такую уж дуру. Будто она сама, Кэти, не ломала над всем этим голову! Я ничего не слышал, нет? Дед ничего мне не говорил про Макилени, когда при смерти лежал? Я сказал ей, что нет. Отец, она сказала, был с ней исключительно ласков, когда уехал Макилени, — только вот одно. И слышать не хотел, чтоб она ехала за ним в Чикаго; говорил, что он ей не пара; что они этого не осилят, и

куда, мол, она поедет беременная. Оно, в общем, и правда. Но Кэти казалось, что дело не только в деньгах; он ни разу не сказал, что вот Макилени, мол, вернется, как прямо знал, что этому не бывать. Откуда он знал?

Я покачал головой. Решил, что буду нем как могила. Кэти трубно высморкалась, мы подошли к ее двери. И вот снова все повылазило, объявила она, выходя ставить чайник. Не простили они ее, ни отец, ни родная сестра — моя мать, — и не хотела она мне говорить… да с кем же ей еще поделиться, кроме дочки, Мейв, а она далеко, и это из-за нее она, Кэти, снова мучается, снова без вины виноватая. Чтоб родная сестра говорила такое! Муж бросил Мейв! Как будто в семье у нее проклятье какое-то и ей положено наказанье за то, что она же и претерпела от мужа. А где, где, спросила она меня гневно, где была эта самая сестра, когда моя дочь выходила замуж? Где была моя семья, когда мне пришлось одной-одинешеньке тащиться в Англию к Мейв на свадьбу? Если это не наказанье, тогда уж я и не знаю! И быть такой врединой, когда я вернулась, такой врединой, что я даже не могу ей сказать, что моя дочь беременна, нет, она будет сыпать соль на мои старые раны с этим своим "яблочко от ябло-

ни", "тебя обманули, и ее обманут".

Она на минуту умолкла. Я порывался уйти, но она продолжала, уже встав и ведя меня к двери.

Нет, это годы, долгие годы злобы, вот это что такое. Только из-за того, что Макилени бросил ее в ее двадцать шесть и женился на мне в мои восемнадцать, — вот это все из-за чего. Вот откуда у нее это вылезло, что Мейв бросят, как меня бросили. Потому что это ее, ее бросили. А я-то еще ее жалела, обещала не выдавать твоему отцу про Макилени. Все мне ясно. Я увела у нее мужика, хоть, бог видит, сама не рада, и слово я свое сдержала; до самого до нынешнего дня никому не говорила, и вот она теперь на мне отыгрывается через Мейв — его дочку и мою дочку. И ради Христа не говорите вы мне про веру. Спорю на что угодно, этот черный, этот Марк, для Мейв в тысячу раз лучше, чем все эти верующие, которые бы тут ее осчастливили, чем ах такой верующий белый, за которого вышла я, а он живет себе не тужит в своем Чикаго и таскается к обедне каждое воскресенье, в году ни единого не пропустит.

Ну вот, сказала она, открывая дверь, вот тебе и всем вам, детки, моя последняя история, и на сей раз я, слава богу, ни слова не приврала.

Часть третья

Глава пятая

Закон Божий
Сентябрь 1954 г

— Сколько времени, — спросил учитель Закона Божьего, — потребуется блохе, чтоб проползти через бочку с дегтем?

— Шесть недель? — рискнул я.

— Нет. — Он ударил меня по лицу ладонью, не очень больно. — Подумай.

— Шесть месяцев?

— Ты, кажется, не понимаешь вопроса? — Он дернул меня за волосы, не очень больно, ткнул лицом в парту, отпустил. Прошел к доске.

— Я напишу ответ на доске, чтобы вам всем было ясно, — и с видом изнемогающего от усталости начертал па доске слова: "Дублинское радио-кино".

Он нас оглядел. Мы на него уставились. Он ткнул в меня.

— Ну! Опровергни ответ.

— Я не могу опровергнуть то, чего не понимаю, святой отец.

— При том что согласиться с ним ты тоже не можешь?

— Тоже не могу.

— Тэк-е. Это и есть искомое условие. Условие обучения. Сделаем еще попытку. Сколько ангелов могут сохранять равновесие на булавочной головке? Предупреждаю — вопрос испытанный и ничего оригинального в себе не содержит.

— Ангелам, святой отец, не требуется сохранять равновесие.

— Вот как? Ты обладаешь серафическим подходом, которого я лишен.

Я молчал. Я не понял смысла последней реплики.

— Попытаемся снова. На сей раз поэтапно. Согласен ли ты, что, когда мы говорим о духе, мы предполагаем предварительное наличие чего-то или кого-то материального? То есть что существовало нечто или существовал некто, имевший тело, прежде чем данный предмет или данный субъект преобразился в дух? Да или нет?

— Да, святой отец.

— А тогда скажи мне, кем или чем был Святой Дух до того, как стал духом?

Я молчал. Слева от меня прыснул Алек Макшейн. Учитель нахмурился.

— Мы имеем дело с теологической проблемой чрезвычайной важности. И едва ли уместно в очередной раз демонстрировать идиотизм деревенской жизни. Я жду.

Снова он ткнул в меня.

— Я не могу сказать, святой отец. У меня нет ответа.

— Тэк-с. В первый раз ты не понял ответа. Во второй — ты отрицал правомерность вопроса. В третий — у тебя нет ответа. Надеюсь, теперь ты понял, в чем особенность религии. Главная моя цель — показать вам, что существует то, что рационально, то, что иррационально, и то, что нерационально, а затем оставить вас барахтаться в этой трясине. Тем самым я окажу некоторую услугу государству и еще большую — Церкви. Доктрина, догма и решительность — вот чем вы должны руководиться, дабы избежать распада сознания. Не слишком серьезная угроза, должен сказать, для большинства из лиц данного класса (в обоих значениях этого слова), столь уныло выстроившихся предо мной.

Его отец был папский рыцарь. Он был сэр Рой Кридон. Сэр. Я был в ярости, но только улыбался. Условие обучения.

Стола бело сверкала на толстой шее. Он любил

вздыхать, топорща над кушаком сутану. Сэр Рой ездил на "ровере". Рой на "ровере". Только у сэра Роя и у полиции были машины. Рыцари в сверкании доспехов. Папские и антипапские рыцари.

— Если ваш учитель географии скажет вам, что вера сдвигает горы, вы, пожалуй, несколько удивитесь. Если учитель математики вам объявит, что в некотором ряду последнее станет первым, а первое последним, вы, пожалуй, это припишете влиянию винных паров. Но я скажу это вам в трезвом уме, и вы поверите. Единственное, о чем я прошу, — не пытайтесь понять. Некогда мы у себя в Ирландии имели простую крестьянскую веру. Ныне, благодаря бесплатному обучению и безбожному социализму, у нас будет простая вера пролетариата. Нет нужды вас призывать к простоте. Она дается вам без труда. Но ныне и в последующие годы я буду призывать вас поверить, что цель образования в том, чтобы укреплять, а не разрушать эту простоту. Пустые, надо сказать, потуги, но именно их требует общество, столь неизбранную часть которого вы собою являете. А теперь я хочу помолчать и от вас жду того же, покуда звонок нас не избавит от тягот вынужденного общения.

И мы молча сидели, а он стоял к нам спиной и

смотрел в окно, совершенно неподвижно.

Вот и все?
Ноябрь 1954 г

Надо было решить, выбрать, что правда случилось, а что я выдумал, что я действительно слышал, а что зацепилось, спуталось в слуховой памяти. Рассказывали про кого-то из ИРА, что он себя стоймя привязал ремнем к железной угловой балке, когда занялась винокурня. У него автомат, "томпсон" наверно, и он открывает огонь по наступающим через улицу полицейским. Он стоит на почти семиметровой высоте, пули брызжут из "томпсона", как из лейки. Но сам стрелок — такая мишень, неподвижный, вычерченный огнем черный силуэт. Пробитый двадцатью, тридцатью пулями, он стоит, обвиснув на балке, посверкивая, когда свет падает на взмокшую кровью грудь, и свесив вперед руки. Фамилию забыл. Тело исчезло, когда взорвались чаны с виски и вся постройка накренилась и рухнула.

Но это подробности. Может, я их сам сочинил, лучше постараться забыть. Пока это длится — если длится, — что же происходит еще? Кое-кто из засевших внутри выходит до того, как сомкнёт-

ся полицейский кордон, и бежит — а может, просто идет — задними улицами и закоулками к надежному дому. Эдди до конца сберегает оружие — винтовку образца Первой мировой, из которой стрелял еще солдат "черно-рыжих", убитый три года назад в войне за независимость в Типперери. Это Дэн, что ли, сказал? Или Кэти? Дедушка? Не знаю. Я слышал сразу всех на кухне, я не могу пригнать голоса к фразам. Я запутался. Многое говорилось ведь ради красного словца, сочинялось, выкраивалось на ходу из обрывков слышанного, читанного, просто чтоб не молчать в долгом разговоре, мол, сами с усами, много еще чего можно порассказать, да вот…

Год был 1922-й. Весна на исходе. Это уж точно. Родители Эдди, папины родители, умерли в декабре двадцать первого. Билли Ман не дошел до конца того моста в ноябре двадцать второго. Папины сестры прожили на той ферме восемь месяцев; послали их туда примерно в феврале, ушли они в ноябре. Вот тогда они папе и рассказали про Эдди, про тех, замаскированных, которые пришли с ним в ту ночь. И с тех пор он это знал и думал, что знает всю правду. А мама примерно в то время встречалась с Макилени. Потом он ее бросил ради Кэти, женился на ней в двадцать

шестом. Скоро она забеременела. И сержант Берк или кто-то еще в полиции сразу его отправил в Чикаго, в июле, когда уже кто-то намекнул — кому, дедушке? И кто намекнул? Мои родители познакомились через несколько лет — в тридцатом, наверно. Долго не могли обвенчаться, не было денег и никаких видов. Он еще дрался на ринге. Обвенчались в тридцать пятом. Что она знала, когда они познакомились, когда венчались? Знала про Эдди? Про Макилени? Не знала, это точно; конечно, она не знала, а то почему бы она так расстроилась тогда, когда спустилась от дедушки, и повторяла "Эдди, Эдди", и плакала. Но что она знала, когда выходила за папу? Неизвестно, но, может, и не стоит докапываться? Не до того, лучше заняться другим.

Итак, они приходят в надежный дом — сколько их? Дедушка, Ларри, Эдди, а может, и сам предатель, Макилени. Может, кто-то еще. Что-то спрашивают, говорят. Среди них подсадная утка, да, все же стало известно полиции. Выходят из дому и направляются в сторону Донегола, к новой границе. Надо ее поскорей перейти. Интересно — у них машина? Или телега? И лошади? Зато я знаю, куда они направляются. К ферме вражды, тому родному дому, откуда ушел Эдди. Тут его

и допрашивают. Отсюда и вражда. Потому что, когда его дяде и тете велят вместе с сестрами Эдди убраться в сарай возле курятника и не выходить, пока им не скажут, и когда они слышат — а они слышат! — крики и выстрелы, они озлобляются на Эдди и на семью Эдди. Может, они видят, как его уводят. Ина с Бернадеттой рыдают. Дядя с тетей запуганы. Им велено молчать. Если пикнут хоть слово, с ними будет то же, что с предателем-племянником. Ина и Бернадетта, наверно, это слышат, что-то такое они слышат. И понимают, что никогда не увидят Эдди. Дядя с тетей меж тем все им выкладывают, обзывают их республиканским отродьем, доносчичьим семенем. Тут-то, наверно, их и ссылают в сарай, обращаются хуже, чем с прислугой. Папа про это узнает только через восемь месяцев. Сестры дошли до ручки от унижений. Восемь месяцев. Это Бернадетта ведет Ину в Дерри, они просят у папы приюта, рассказывают ему все — про свою жизнь, про Эдди. А тот скандал на той ферме, который я помню с раннего детства, был уже через двадцать три года, когда тетя умерла и адвокат известил папу, что по завещанию ему причитается кое-какое имущество, имущество его родителей, которое она забрала из дому после их смерти и с тех пор

держала. Только ничего он не получил. Дядя — всего-навсего теткин муж — заявил, что ничего не отдаст, пусть папа в суд подает, а уж там, дескать, он всем расскажет, кто такой Эдди, про которого люди до сих пор хорошо думают. Как будто у папы деньги были, чтоб в суд подавать. И как будто он пошел бы на то, чтоб публично трепали имя его брата. И он нас схватил и унес. А потом, через несколько лет, водил туда нас с Лайемом и рассказывал про Поле пропавших. А я над ним посмеялся.

Но тогда, в ту ночь на ферме? Эдди, наверно, понимает, что пропал. Он знал больше остальных. И как-то он выбрался. Кто же еще мог донести полиции? Мой дедушка? Кто-то еще из старших? Исключено. Пытался он кому-то что-то сказать? Нет. У каждого свое алиби, своя уверенность, свои подозрения. Они его били? Связали? Жгли сигаретой? Или били по голове рыхлой тяжелой книгой? Так можно долго волтузить человека, и он не теряет сознанья. Может, его били какой-то из тех книг, которые я видел тогда на полках. Но все равно Эдди, конечно, не признаёт свою вину, он же знает, что не виноват, и он знает, что кто-то другой, может среди этих допрашивающих, — настоящий предатель. И они его выводят с той

фермы, и ведут по полям к Грианану, и добираются туда уже в темноте. Заталкивают его в тайный ход, приваливают камень, а сами сидят на поросших травой плитах, курят и обсуждают, что с ним делать дальше. Потом, может быть, дедушка достает револьвер, дает его Ларри и приказывает ему туда войти и сделать это. И Ларри ползет по ходу, туда, где на стуле желаний сидит Эдди, и он стоит перед Эдди на карачках, и на него смотрит, и, может, говорит что-то, может, говорит, чтоб он помолился, и потом стреляет несколько раз, а может, только один, и форт гудит как пустой. А другие — те, кто сидит или стоит на поросших травой плитах, — что они слышат? Хлопок, может, много хлопков? Может, они слышат перед выстрелом голос Эдди? А как же тело? Они бросили его там до утра? И это как было? Ларри заставил его стать на колени и выстрелил сзади в затылок? Или сказал ему — ладно, иди, и пустил его вперед и выстрелил, когда Эдди опустился на четвереньки, чтобы ползти? Никто никогда не узнает, потому что это случилось в ту самую ночь, когда Ларри встретил свою дьяволицу и перестал говорить. Он только молча сунул дедушке револьвер и ушел по темной тропе домой, а все пошли к Донеголу.

Как-то не верилось, что Ларри совсем никогда не разговаривает. Когда он оставлял свой пост на Болотной, шел домой пить чай, неужели же он ни с кем не разговаривал у себя дома — со старушкой матерью, с неженатым братом Уилли, который работал на бойне? Но было известно — нет, никогда. И брат был ненамного лучше. Поговорит о погоде, о ценах на мясо, о собачьих бегах — и все, стоп. Можно было десять минут без передыху стоять возле Ларри и с ним говорить — он только глаза переводил с твоего лица на свои ботинки, туда и обратно. Человек, который спознался с дьяволом. Человек, который убил брата моего отца. В одну и ту же ночь. Стоял темный, в лоснящемся костюме, до горла застегнутой аккуратной рубахе, и лопасть бессменного галстука сложена, как язык, в выеме свитерка, маленькие черные с начищенными носами ботинки, руки в карманах, фуражка, серое, без запаха, жесткое лицо. Смотришь на него тысячу раз, тысячу раз его видишь, а все равно, проходя, глянешь, чтоб убедиться, что он тут как тут: живой и неодушевленный, стоймя замурованный в мертвый воздух.

Да, так что же они сделали с телом? Закопали тут же?

Поволокли обратно и сбросили с моста в реку?

Вряд ли. Дедушка не рассказал, а я забыл спросить. Остался ли хоть кто-то в живых, кто знает, где тело? И все это время, все время Макилени сидел, может, у себя; или гулял по улицам с моей мамой, или торчал у нее в доме, что-то плел, старался, чтоб все отметили — вот он где. И все это время Берк сидел в казарме, знал, что будет, ждал, надеялся, помнил про Билли Мана. И дым винокурни бередил рассветную муть и пугал чаек, они налетали с доков, кружили над ним и, рыдая, неслись прочь от вони и жара.

Мамин отец убил папиного брата. Она это узнала перед самой дедушкиной смертью. Папа не знал. Мама встречалась с Макилени, предателем, из-за которого казнили Эдди. Папа не знал. И Макилени ее бросил и женился на Кэти, на ее сестре. Потом кто-то ему подал знак, и он сбежал в Чикаго. Кэти не знала. И папа не знал. Мама с самого начала знала, что Макилени сбежал, знала, что он предатель. Ее отец ей, наверно, сказал; а не говорил он ей, до самых тех дней не говорил, когда уже слег перед смертью, про то, что случилось с Эдди. Теперь она знала все. И знала, что я знаю. Но она ничего не собиралась рассказывать. Я тоже. Но ей было тяжело, что я знаю. А папа думал, что он мне все рассказал. И я ничего ему

не мог сказать, хоть мучился, что он не знает. Но только мама могла сказать. Больше никто. Это она так любила его, потому не говорила? А я так их обоих любил, что не говорил. Но я все знал, и меня это отделило от них обоих.

Полоумный Джо
Январь 1955 г

Полоумный Джо — вот кто почти закончил для меня эту историю. Его исправно время от времени запихивали в Траншу, местную психушку. И выходил он оттуда всегда особенно взбаламученный, мрачный.

— Единственное оправдание Бога в том, что его не существует, — объявил мне Джо, колотя тросгью по забору перед публичной библиотекой. — Недурно пущено, юный Калибан, а?

На рубашке у него было смачное длинное яичное пятно. Библиотекарша его выгнала с помощью садовых сторожей за то, что шумел, за то, что опять начал сдирать книги с полок, швырять на пол и орать, что это чушь, ерунда, отрава. Я вышел за ним и смотрел, как он яростно мечется взад-вперед по дорожке, бьет рододендроны тростью, чертыхается во весь голос. В конце концов

заметил меня, просиял, кинулся ко мне, потянул за рукав, ухватил за шею, притянул книзу, к своему потрясенному лицу.

— Ну, и кто, ты думаешь, это написал? Не чета твоим идиотским поэтам, должен тебе сказать. Нет, повзрослеешь ты когда-нибудь? Вырос-то ты вырос, да ума не вынес, такой же, прости господи, дуралей. Ни малейших признаков совершенствования. Женщинами небось увлекаешься, а? Христе Боже милостивый! Лишениями отцов пустынников, муками Иуды тебя заклинаю — когда же ты начнешь чему-то учиться, дабы быть искуплену из этой нашей сволочной юдоли, пустой ты человек?

Ходуном ходили жалкие плечики, лицо налилось гневом. Он смотрел прямо на меня, но глаза были так заволочены и метались, что я понял — он почти не видит меня.

— А сука эта, которая опять меня вытурила, о господи, как бы я хотел увидеть ее в аду, нет, я на днях спалю к черту эту библиотеку вместе с неграмотной, невежественной, бесполой шлюхой! Фанатичка! Фанатичка безбожная!

Потом, несколько успокоясь, он поднял палец и продекламировал:

— "Сокровища Александрийской библиотеки

были разграблены или уничтожены, и почти двадцать лет спустя вид пустых полок возбуждал боль и негодование в каждом, чей разум не вовсе был помрачен религиозным предубеждением".

Потом тряхнул головой, остановился.

— Н-да, недурно — религиозное предубежденье. Здесь бы ему пожить — полюбоваться бы…

Еще раз тряхнул головой, отвернулся, рыкнул:

— Бестолковщина!

Снова на меня глянул, задыхаясь, оперся на трость, пощелкал вставной челюстью, и лицо, успокаиваясь, бледнело.

— А знаешь, — он улыбнулся, — страшно хочется побродить вокруг пруда с лилиями, если только ты позволишь мне опереться на твою руку. Было бы чудно.

И мы двинулись, медленно, он дышал еще трудно, с присвистом, но чуть успокоился.

— Одна только близость прошлого портит мне пищеварение, вьюнош. Ты, надеюсь, меня поймешь. Думаю, что поймешь; тебе самому портит. Психологический запор. Хочу тебе преподать один урок. Однако и ты сделай милость. Отплати мне тем, что не вечно будешь таким юным кретином. Не оставайся ты на всю жизнь гимназистиком. Это даже обидно. Вечно ты гоняешь,

как пес, обнюхивая задницу каждой тайне, и что за привычка такая гадкая. Совокупляйся, если тебе так надо. Ну и покончи с этим. А дальше — расти. Ладно, отпусти мою руку. Я хочу отдохнуть.

Облокотился о перила, стал смотреть на водяные лилии.

— Отравленные лилеи![10] О Шенандоа![11] Твоя сестренка умерла. Я любил ее как сорок тысяч братьев. Лилии, красные лилии... Лилиболеро![12]... Ты в жизни мне не сказал ничего, что стоило бы послушать, а сам слышишь от меня бездну всякого, что стоило сказать. Все трын-трава. Вот теперь они узнают, что меня выгнали из библиотеки, и что они сделают, милые родственнички? Снова меня упрячут к тем бедолагам, а санитары дух из меня повышибут. Чтоб им гореть в аду на медленном огне!

Я знал о дурной репутации заведения, где по-

---

[10] notes: 10

Ср.: "Чертополох нам слаще и милей / Растленных роз, отравленных лилей". *Шекспир.* Сонет 94. *(Перев. С. Маршака)*

[11] notes: 11

Популярная песня неизвестного автора.

[12] notes: 12

Верней: "Лили-бурлеро", антикатолическая песня старинного происхождения, популярная в английской армии ("Леро, леро, лили-бурлеро!").

долгу его держали. Единственное, говорили, что отличает санитаров от пациентов, — это их халаты. Джо был прав. Что я мог ему сказать? Он всегда меня ошарашивал, у меня голова горела, бухало сердце.

— И что, — спросил он, повернув большую голову на щуплом тельце, повертев ею, как заводная игрушка, — и что ты теперь знаешь, чего не знал, когда я впервые ввел тебя в зал искусства? Можешь не отвечать. Я знаю. Кто тебе первый сказал про Ларри? Кто подал тебе путеводную нить? Можно не отвечать. Ты знаешь. Где это произошло? Пиф-паф. И дальние раскаты, во веки веков аминь. И с той горы сбегая воздушною тропой, они сказали — дьявол забрал его с собой[13].

Это он про Ларри. Я сразу понял. Если смолчать, я подумал, он еще что-нибудь скажет. Но вдруг он всплеснет руками, выронит трость, велит мне поднять, возьмет и уковыляет? Опять он задергался. Один из сторожей, помогавших выдворять Джо, прохаживался по той стороне пруда и на нас поглядывал. Готовый вмешаться, если Джо снова посягнет на библиотеку. Джо его тоже видел.

— Генри Паттерсон, — сказал он. — Вот это кто.

---

[13] notes: 13

Переиначенные строки из стихотворения "Эльфы" ирландского поэта Уилли Эллингема (1824–1889).

Сорок лет от роду, а достиг апогея своей карьеры, вышвыривая за дверь меня, старика. Сильный, сволочь. Ручищи как клещи. Так за плечо схватил, что чуть кость не выломал. Мой бы ему артрит, гадине, и мои руки-крюки.

Мы посмотрели, как, обводя нас широким кругом, мимо шествовал Паттерсон. И снова пошли. Джо висел на моей руке. Он решил посидеть у розовой клумбы, мы нацелились на ближайшую скамейку. Джо сел, утер лицо белым платком, хоть день был пасмурный и не то чтобы теплый.

— Хочу заплакать, да не могу, — сказал он. — Платок иногда способствует. Но не сегодня, не сегодня. Утешил бы меня историей какой-нибудь или даже песней. Да, песня лучше. Историй ты стоящих никаких не знаешь. Лучше спой. Что-нибудь нежное, тихое. Птиц смотри не распугай.

Мы сблизили головы, и я запел ему "Любовь как роза, роза красная"[14]. На втором стихе он заплакал, но сжал мою руку и затряс головой, чтоб я продолжал.

Будь счастлива, моя любовь.
Прощай и не грусти.

---

[14] notes: 14
Р. Бернс. Любовь. (Перев. С. Маршака.)

Вернусь к тебе, хоть целый спет
Пришлось бы мне пройти.

— О господи. — Он вздохнул, когда я кончил. — Как ты се ни увечишь, а хороша песня. А "Ирландия моя" знаешь?

Я и это спел, поглядывая, не идет ли кто, потому что я тут же бы онемел. Но никого поблизости не было. Время от времени он тихонько мне подпевал, сложив руки на черных, как у священника, брюках.

А день воскресный пусть зайдет
За те деревья на лугу.

Я смотрел, как розовый лепесток упал, поскользил по траве, прежде чем неудобно улечься.

— Воскресенья, — сказал Джо. — Жуткие дни. Все самое ужасное случалось в воскресенье. Не странно ли? Да ты и сам знаешь небось, с вашей-то семейной историей. Пожар в субботу, казнь в воскресенье. Или пожар был в пятницу? Не думай, я ничего не забыл. Нет, я помню тот день. В жизни не слышал столько выстрелов. Нет-нет, воскресенье, точно, воскресенье. Это началось в воскресенье.

— Что началось в воскресенье?

И он спел, слегка кривляясь, пародируя:

Изменник предал жизнь мою
Веревке палача[15].

Я онемел. Потом:

— А где вы тогда были? В то воскресенье? В день перестрелки?

Он подумал немного, обняв трость руками, уткнув в них подбородок.

— Где-где? Да кого там не было? Все-все, кому надо, были, все кому не лень плясали под чью-то дудку — кто мог, конечно, расслышать. Я тогда молодой был. Не такой еще сумасшедший, но к тому дело шло, к тому шло. Помолчали. — Так Мейв, говорят, замуж вышла? И за черненького? Хотел бы я увидеть личико ее папаши, когда он про это узнал!

И по-своему, отвлеченно, хихикнул.

— Едва ли вам удастся увидеть его личико, потому что он давно в Чикаго, — ответил я.

— Ничего, я до сих пор вижу его личико, не беспокойся. Четыре утра. Восьмое июля двадцать шестого года. Он, как тень, выскальзывает из полицейской машины. Сзади — двое. И за рулем

---

[15] notes: 15
Р. Бернс. Макферсон перед казнью. (Перев. С. Маршака)

наш любезный старый друг Берк. Макилени останавливается, чтоб поднять воротник, а я — я выхожу из подворотни, где прятался от дождя, я всматриваюсь и вижу, кто это, и я ухожу, я, как тень, ускользаю по улице, а он остается стоять под дождем.

— А что он там делал, в полиции?

— Вот именно — что он там делал? Доносил, доносил. Продавал своих за тридцать сребреников. Неужели не ясно! Он меня так и не видел. Но он вовремя смылся. Так и не видел потом никогда жену и дочь. Но кто, кто ему дал знать, что его видели? Точно сказать не могу, но кой-какие соображенья имеются. Удивительно, что полиция сочла нужным о нем позаботиться. Он им раз в жизни сгодился и больше понадобиться не мог.

Распростер руки, спел:

И перед смертью об одном
Душа моя грустит,
Что за меня в краю родном
Никто не отомстит.

И встал. Я ему подал трость.

— Я ухожу, — объявил он. — Когда снова тебя увижу, ты будешь намного старше. Но я останусь

таким же, как был всегда.

Постучал себя пальцем по лбу, улыбнулся.

— Вечная юность. Секрет сумасшедших.

Отошел на шаг, оглянулся.

— Вот оно — наказанье: все помнить.

Он двинулся по тропе, напевая себе под нос, а я еще постоял минутку, разглядывая лепесток, непрочно устроившийся в траве, пока опять не подхватит ветром. Так вот что крылось за тем бегством в Чикаго? Джо опознал Макилени как полицейского осведомителя? Странно, но вот такие дела.

По-ирландски
Октябрь 1955 г

Мама не знала ирландского, хотя и калечила кой-какие обрывки стихов и песен. Во время своей болезни она как-то меня спросила, знаю ли я старые ирландские стихи, мы проходили их в школе? Но я очень мало знал. Вот одно такое есть стихотворение, она сказала, его женщина написала, там женщина горюет, она сделала страшную вещь, бросила того, кого любила, и там еще, она помнит, перед этим деревья в лесу гудят-звенят грустной музыкой и волны так уныло рокочут,

что рвется сердце. Знаю я эти стихи? Женщину зовут Лиадан. Наверно, и песня есть такая. Я не знал. А почему она его бросила, я спросил. Мама не могла сказать, что-то там связано, кажется, с дорогой в рай.

Я решил ей сказать все, что я знаю. Но каждый раз — начну, и смелости не хватает. Главное было начать, через это перешагнуть. И — будь что будет. Может, она уши заткнет, заплачет. Или еще похуже. Мало ли. Но мне надо было сказать. Правда взбухала, нарывала во мне. Я уж думал сказать Лайему. Но как же, пока я ей не сказал? Потом, если она разрешит, я ему скажу. Я много раз подступался — но нет, не мог.

Я решил все записать в тетрадь, во-первых, чтоб уяснить для себя, ну и чтоб отрепетировать, определить, какие подробности оставить, что выкинуть. Но потом испугался: вдруг кто-то найдет и прочтет. И тогда с помощью словаря сделал перевод на ирландский. У меня это заняло больше недели. Затем я английский текст уничтожил, сжег на глазах у мамы, хоть она говорила, что я засоряю камин.

Несколько дней я выждал. Потом, вечером, когда папа был дома и читал Энциклопедию

Пирса[16], свой, как он выражался, самоучитель, а я делал уроки, я взял и все ему по-ирландски прочел. Это нам в школе задали, я сказал, что-нибудь написать из местной истории. Он только кивал, улыбался, сказал, что у меня замечательно вышло. Мама внимательно слушала. Я понял: она догадалась. Папа похлопал меня по плечу, сказал, что ему приятно слышать у себя в доме этот язык. И пошел подметать двор. А я спиной чувствовал — она на меня смотрит. Она долго не шевелилась. Я смотрел на него в окно, он плескал водой из ведра, с силой взмахивал шваброй. Мама вздохнула, встала, подошла к лестнице. Он перестал подметать, стоял, опершись на швабру, уставясь в землю. Я знал — она на него тоже смотрит. Потом сказала что-то обрывистое, даже сердитое кажется. Я не расслышал: я плакал.

До нас дошли слухи, что оба сына сержанта Берка уехали в Мейнут учиться на священников. Хоть Берки больше плодиться не будут, сказал дядя Том. Не скажи, подхватил его брат Дэн, просто фамилию будут другую носить, и вся недолга. Мама очнулась от своего столбняка и взмолилась

[16] notes: 16

Патрик Пирс (1879–1916) — ирландский поэт и просветитель, ревностный католик, борец за независимость Ирландии. Казнен за участие в Пасхальном восстании, поднятом 24 апреля 1916 г.

Господу, чтоб простил Дэна за эти его слова про священных особ. Все расхохотались. Такая уж семейка, подавай им черную форму, сказал еще кто-то. Нет, сказала мама, не смейте, не смейте мешать одно с другим. Это небо и земля, небо и земля.

Политическое воспитание
Ноябрь 1956 г

Мы во все глаза смотрели на лектора, священника в британской армейской форме, капеллана, гладкого, величавого, с величавым и гладким выговором, с красивым лицом, несколько подпорченным апоплексическими жилками, гостя нашей школы, которого нам представил президент и прислало Министерство просвещения. Как роскошно поправил он свою фуражку, пожал руки учителям, полистал бумажки, улыбнулся на наши неуверенные аплодисменты. Затем слегка склонил корпус, сложил молитвенно руки и — после изъявлений признательности президенту и иже с ним — начал речь.

— Если вы взглянете на бассейн Фойла с Байневены, почти четырехсотметровые склоны которой сбегают к обсиженным птицами отме-

лям реки Роу, — вы сможете оценить всю красоту и стратегическое значение того буйного края, где расположен ваш город. Город, который и сейчас контролирует восточное побережье Северной Атлантики, до сих пор является важным портом для судов великого флота НАТО, регулярно заходящих сюда во время учений, призванных подготовить западный мир к обороне от международной коммунистической угрозы. Эта угроза столь же ныне реальна, как была реальна некогда угроза подводного флота Германии, который, потерпев здесь поражение в конце войны, сейчас ржавеет на дне океана символом собственного позора и нашей решимости в защите свободы и демократии, той мощи и слаженности, с какими всегда мы будем мобилизовать все силы для поддержания демократической системы, под сенью которой нам выпало счастье жить. Покуда советские подлодки бороздят воды Северной Атлантики, покуда моряки разных стран стекаются в Дерри, вплетая свои краски в многоцветие города, вы вспоминаете знаки войны, которые видел ваш город: сотни немецких военнопленных, славных свидетелей роковых подводных атак, ряды захваченных немецких субмарин, сотни американских и британских боевых ко-

раблей, большую американскую морскую базу, которая с сорок первого года стоит и поныне, вы вспоминаете, как немецкие самолеты бомбили город, но ему суждено было уцелеть и остаться вне их досягаемости, вы вспоминаете все, что свидетельствует о гордой и трудной роли, которую ваш город играл в той титанической битве. И вы снова призваны принять участие в сражении столь же драматическом, хоть менее видимом взгляду: вы должны сразиться с врагом, ничуть не менее реальным оттого, что он невидим. Эта битва ведется за сердца и души людей; битва безверия против веры; битва подлости и злобы против человеческой свободы; битва холодного атеизма против доброго огня христианской веры, с давних пор горящего в ирландских сердцах. Нет, не для них, не для такого народа запертые храмы, колючая проволока лагерей, экспроприация земли военизированным и неверующим государством — горькие плоды безбожного ученья. Атеизм — это вызов не только разуму нашему, но и нашим инстинктам. Долго он не продержится. Никогда ирландцы не изберут этого зла, ибо ирландцы верят, они истинно доверяются своим глубоким инстинктам. Так же как и сожители их на этих островах, они отринут лишние и ненуж-

ные местные дрязги, все преходящие разногласия и устремят свои взоры к благородным высотам, к лучезарным вершинам свободы, подобным ребристым склонам Байневены и широкому плато, уходящему прочь от оспариваемых вод к надежности наших городов и селений. Наши внутренние распри — не более как семейные ссоры; перед лицом внешнего врага христианская семья должна сплотиться, воспрянуть и отстоять себя так же, как все члены пестрой семьи ирландской веками отстаивали свои основные свободы. Много есть свидетелей этому стремлению ирландцев защищать свои свободы — начиная от самих городских стен и до древней крепости Грианан, глядящей на уединенный монастырь Коламбы, подаривший острову христианство. С такой историей, с таким народом, славным своей верностью союзникам, своим великодушием к врагам, мы можем смело глядеть в будущее, сознавая, что дальний рокот Атлантики столь же от нас неотторжим, как улицы, которые мы топчем, памятники, которые мы сберегаем, как чувства, которые мы питаем. Я знаю: то, что сделал ваш город в войне, ныне ушедшей в прошлое, он сделает снова в той войне, которая уже началась и в которой нам надлежит победить. Это тяжелая

ответственность. Но с чувством гордости и счастья я сознаю, что ответственность эта ложится на людей того города, о котором я впервые узнал во время войны в военно-воздушном училище Марги и который с тех пор часто посещаю. Здесь, где с презрением отвергают поветрия капризной моды, где верны традициям, преданы постоянству, особенно чувствуется соотношение между людскими разногласиями и вечными ценностями. Без прочного ощущения целостности, преемственности люди немногим отличаются от летних мух. С ним, с нашим драгоценным чувством наследия, мы становимся действующими лицами великой драмы, повести, что оканчивается за пределами нашего мира, в той жизни, для которой наш дольний мир служит лишь огромным и славным приготовлением. Бог — вот цель нашей истории; наша история есть обетование — смиренное, дерзостное, рыцарственное и скромное. Приветствую вас всех.

Мы растекались из актового зала по классам. Все потрясенно молчали.

Назавтра на уроке истории было обсуждение речи. Отец Маколи ждал от нас идей, вопросов — и не дождался. Мы что — не слушали? Он орал. Внимания не обратили? Мы кто — животные,

растения, минералы? Неужели мы не заметили связи между выступлением этого человека и недавними бомбежками?

Отводя очередную грозу, Ирвин спросил, к чему тут была приплетена Байневена? И при чем коммунизм. Несколько умиротворенный, но все же обдавая нас легким духом презрения, без которого он с нами разговаривать неумел, Маколи объяснил. Байневена нужна была этому человеку для того, чтобы дать нам широкий взгляд на местность и на ситуацию. Он начал с известного и перешел к неизвестному. Педагогический прием, объяснил нам Маколи. И велел эти слова записать. Далее нависло молчание. Маколи, опять закипая, сказал, что цель лекции была — поднять наши взоры от наших мелочных дрязг, чтобы мы шире взглянули на свое место в мире. Этот человек умеет видеть. Да, Маколи и сам помнит эти самые субмарины, выстроившиеся в Лизахелли; да, он помнит американские суда в нашем заливе; да, он помнит то, помнит се, пятое и десятое. Нас мутило от скуки. Макшейн наконец спросил — этот человек, он католический священник? Нет, конечно, ответил Маколи, этот человек англиканин, или так называемый англо-католический священник, хоть для него

лично — как и для нас — нет иной католической церкви, кроме римской. Он нам это каждый год твердит. И нам не следует употреблять этот термин — англо-католик, — ибо он допускает правоту Реформации. Логика его умозаключения от нас ускользала. Так что же хуже, спросил я, коммунизм или Реформация? Всё хуже, но Реформация — это история, а коммунизм — живая угроза. Но разве Реформация не угрожает нам здесь, прямо сейчас? Разве здесь не смотрят косо на католиков? Именно это и объяснял нам лектор, сказал Маколи, глазом не моргнув. Забудьте старые распри. Семейные споры христиан между собою. И все будет хорошо. Когда все кончится, останется коммунизм, угрожающий всем, кто верит в Бога. Мы люди западного мира и с ним должны связывать свою судьбу. Запертые в тесных улочках, мы лишены того широкого виденья, которое нам приоткрыл этот человек, но, сохраняя нашу веру, мы тем самым играем в мире свою роль. Мы должны понять, как несущественны собственные наши внутренние различия перед лицом мировой истории. Вот куда следует нам устремлять наши взоры — к дальним горизонтам. Завтра — обычные занятия по истории Европы. Венский конгресс. История исследует тенденции,

не людей. Нам надо научиться различать тенденции. Хотя, видит Бог, несмотря на его неусыпные заботы и заботы вчерашнего лектора, маловероятно, что мы когда-нибудь в этом преуспеем. При первых зачатках звонка он метнулся из класса: успеть выкурить в коридоре до следующего урока свою сигарету.

— Пропаганда, — сказал Ирвин. — И больше ничего. Сперва немцы. Потом русские. И вечно ИРА. Британская пропаганда. На фига нам немцы и русские? С нас хватает британцев. Болван этот Маколи.

Я вспомнил мальчишку-немца, которого папа подкармливал в бараке военнопленных за доками, и потом он еще, мне сказали, подарил папе в благодарность тот немецкий пистолет, канувший в полицейских казармах, и такое из-за этого поднялось. Но, возможно, это и были мелочные дрязги. Наконец-то я начал соображать. Широкое виденье. Вот мне чего не хватало.

Сержант Берк
Декабрь 1957 г

Послушайте, мэм, сказал маме сержант Берк (как-то так он сказал), я больше не причиню вам

никакой беды, успокойтесь. Только ведь на вас кое-что имеется, и пора выяснить, растереть и забыть, а заведено это было тогда, когда меня здесь еще и в помине не было. Ах, точно она не могла мне все пересказать, из него просто перло, как жар из горячечного. Каждый раз, как он скажет — никакой беды, никакой беды, а он это повторял, повторял, я чуяла беду, мама сказала, чувствовала, что платье на мне сейчас лопнет, будто кто его тянет сзади. Я хотела умереть, и хотела держаться мужественно, и ничего я этого не могла, только сижу, прости меня, Господи, киваю, киваю и думаю, Боже милостивый, уж не дитя ли шевелится во мне, брыкается у меня в животе, как бывало, когда кто-то из вас начнет шевелиться, и по пинкам этим вашим я сразу определяла, кто будет — мальчик или девочка, — да, и я ни разу не ошиблась, и даже отцу вашему говорила, когда он с работы придет, кто у нас будет. Он смеялся, а сам верил. И если я скажу — девочка, он даже больше сиял, потому что он считал, что девочка — это еще большее чудо, только ты не подумай, что он вас, мальчиков, не хотел. Просто такой человек.

Я был в школе в тот день, когда к ней приходил Берк? Уже потом, когда она мне давным-давно

рассказала, я себя убедил, что был дома тогда и слышал его голос. Бархатное гульканье голубей Фредди Кампбелла — от нас третий дом — летом убаюкивало меня среди бела дня. Мы себя считали большими знатоками голубей, мы их называли: бантастые, чиграши, драконы, монахи, китайские чайки — и не уставали смотреть, как они кружат, кружат и опускаются на рифленый откос своей голубятни. Зерно, которое они клевали, их бело-синий помет — белая вспышка и в ней глазок синевы — уподобляли дворы полям безобидной сечи. Может, Берк и пришел как раз, когда я дремал? Было не так, просто мне так хотелось. Это произошло в декабре пятьдесят седьмого, я еще учился в школе, но только через четыре года, когда я поступил в университет, только тогда она мне сказала. Да и то, наверно, потому, что я уезжал во Францию на летние каникулы, и она себе вбила в голову, что я не вернусь или вдруг погибну от несчастного случая. Папа пошел проведать своего брата Фонси, тот заболел. Я начал думать тогда, что она уже не так боится, что я что-то знаю, успокоилась, убедилась, что я в любом случае не проболтаюсь.

Пора с этим покончить, сказал Берк, подвести черту. Что он хочет этим сказать? — она его спро-

сила. Э-э, да хватит вам убиваться из-за вашего этого горя, пора отойти в сторонку. Возьмите вы своего родителя, он ей сказал, умер с двумя покойниками на совести, а обоих зазря укокошил. Возьмите Кэти — разбитая семья, ребенок без отца, а отец ведет двойную жизнь на чужбине. Фрэнка возьмите, супруга вашего, всю жизнь молчит человек, думает, что родную семью опозорил осведомитель, и не хочет ни с кем поделиться, рассказать, облегчить душу, а дети пристают с вопросами, и народ удивляется — почему его отпустили в ту ночь, когда пацаненок нашел ствол. Это, кстати, лично он все обстряпал, сказал Берк, посчитал, что с Фрэнка довольно, да и знал, что он ни в чем не виноват. Потому-то вы и били мужа, били маленьких моих у него на глазах? — не выдержала, крикнула мама, всего синяками изукрасили от шеи до пояса? А как же, иначе нельзя было, присутствовали же из Белфаста, из особого отдела, выглядело бы подозрительно, и уж если бы те за него взялись, Фрэнк бы угодил за решетку, срок схлопотал. Зато теперь, так, мол, и так, он у нее просит прощения, и еще просит прощения за случай, когда он впутал в беду мальца из-за камешка этого. Но он ведь сам к нему пришел прощенья просить, и с тем, от епископа?

Парень, видно, неглуп. Но яд — он-то растекается, отравляет его и братьев-сестер. Может, хватит уже? Неужели нельзя прекратить? Зачем это продолжать вечно?

Ну так вот, мама мне сказала, тут она ему выложила — зачем. Несправедливость. Сама полиция. Грязная политика. Хорошо говорить "прекратите" людям, которые только жертвы. А что, интересно, они должны делать? Сказать — извините, вот мы протестовали, мы больше не будем, нет, мы всегда будем безработными, задуренными, и пусть нас избивают полицейские, упрятывают за решетку законники, на которых на самих пробу негде ставить, всех за решетку надо посадить, вдобавок пожизненно, за все то зло, которое они причинили! Или как?.. Ну что он мог сказать в ответ? Сидит, голову понурил и все вздыхает. Потом вдруг спрашивает: Фрэнк знает, она ему собирается сказать? И тут мама ему ответила: уж это дело между мужем и женой, и если кто сунется, встрянет — не обрадуется, таких понаделает бед, каких еще не было до сих пор.

Каких бед? — я спросил. И что она могла сделать? Одному Богу на небесах известно, что она могла сделать, да и кто она такая, какая у нее сила, это она так, пусть думают, что от нее что-то

зависит, что-то она может. Она сблефовала, я понял, как нас в покере учили, и я восхищался, я удивлялся, как она провела игру. Все ушли в пасы. Почти чисто.

Сперва она даже не шелохнулась, хотя обомлела, конечно. Стоит на кухне Берк, в руке фуражка, и все на нем черное-черное, только кожа лоснится на поясе и на кобуре и торчит дубинка. Можно он снимет фуражку, можно сесть? У него к ней кое-что имеется, кое-что надо провентилировать, задать кой-какие вопросики, вот он и подумал, может, лучше днем зайти, пока Фрэнк на работе. Нет возражений, мэм? Фуражку он свою снял, и уселся, и положил ее на колени, а дубинкой вертел, пока не устроился поудобней. Такой громадный, застил весь свет в окне. И она не могла разглядеть его лицо, потому что стало темно.

Было не заперто, вот она и сказала: кто там, входите, а это — он. Сперва она его чуть не выгнала, чуть на него не наорала, только у нее пропал голос. Подумала — случилось что-то, кто-то умер, покалечился, ваш отец утонул на работе, он в те дни на воде работал, на лебедке тянул тросы, или в сухих доках работал на высоте, ходил по сходням, а они для него слишком узкие, хлипкие, у него голова кружилась. Они тогда бегучий та-

келаж с военных судов снимали, которые стояли после войны. Потом подумала — вдруг кого-то из вас задавил грузовик с углем или коняга цыганская беспризорная зашибла копытом на заднем поле. Но только он рот открыл — она поняла: тут другое. А голос все равно пропал, и пришлось собирать слюну, так в горле пересохло.

Берк узнал, он сказал, насчет Мейв, Кэтиной дочки, что она замуж вышла и родила ребеночка у себя в Англии. Вот он, мол, и задумался о том, как много воды утекло с тех пор, как сама Кэти вышла замуж. Жалко до слез, как иногда судьба играет человеком, все ведь могло быть иначе, счастье в семье, и ни Кэти, ни Мейв не лишились бы мужа, с одной стороны, а с другой стороны, отца, не вылези на свет та старая история. Политика тут у нас рушит человеческие жизни. Лучше бы людям кой-чего и не знать, в особенности молодым, тянется за ними всю жизнь эта дрянь, а толку-то, спрашивается. Он уж собрался, он ей сказал, в отставку, надоело. Хочется наконец и расслабиться. Но для него тоже ведь все непросто. Он не забыл Билли Мана, друга, с которым вместе путь начинали в полиции — сколько уж лет-то прошло — в те дни, когда пошла эта катавасия после Договора. Тяжелая была обстановка, он

сказал, в начале двадцатых. Северная Ирландия рождалась в жестоких муках. И Билли Ман принял жестокую смерть, хотя не он, не он виновен в том, что дружка родителя вашего уложили тогда возле редакции. Ваш родитель, он сказал, был мужчина крепкий, умный мужчина. Вышел тогда сухим из воды, и никак они не могли ему хвост прищемить, исключительно был аккуратный мужчина. Тут к маме, она рассказывала, вернулся голос; тут она ему сказала, что зато старались они не за страх, а за совесть, а Берк только кивнул и говорит — ничего, потом-то они с ним сочлись через Макилени, через зятька, будущего то есть зятька. Макилени был их человек. Это его тогда была работа. Но указывать прямо на Эдди было чересчур рискованно, и они построили так, будто у них случайно просочилась информация о том, что осведомитель — Эдди. Использовали Ларри Маклокина, этот балбес поверил, якобы к нему идет материал на Эдди от своих людей в самой полиции. Перекрестные допросы разок, другой, третий, и — сработало. А потом, когда застрелили Эдди, они собирались открыть родителю его ошибочку, да им было велено попридержать Макилени до поры до времени, и они держали, покамест, когда уж он на Кэти женился, кто-то

не выведал и не сообщил. Он вот думает все, кто бы это; ведь лично ему, сержанту, пришлось выпроваживать Макилени, и как убивался человек, понимал, что путь на родину ему отрезан, не хотел оставлять молодую жену, очень сомневался, что она к нему сможет выехать. Это небось родитель ее не пустил в Чикаго? Беременную и замужем без году неделя. Как он, кстати, Макилени? Жив? Он вот слыхал, будто опять женился и живет себе тихо-мирно, не контактирует ни с кем?

Я хотел ей сказать — ну, теперь-то, слава богу, все кончилось. Но нет, не кончилось. Она не сказала про себя и Макилени; не сказала, что она знает сама, что знает папа или знал, когда они поженились. Я же знаю про тебя и Макилени, мама. Я же знаю, ты это утаила от папы.

Я представил себе, как я ей это скажу, репетировал. "То, чего ты не знаешь, тебя не мучит, — я бы ей сказал. — А ты мне не хочешь сказать про то, чего я не знаю и что меня мучит. Вот ведь что происходит. Любила бы меня побольше, знала бы, как я тебя люблю и его, — все бы рассказала. Неужели не понятно? Я же все, все для тебя сделаю, только бы ты позволила". Но, может, неправда это, что она бы мне все рассказала, если бы боль-

ше любила? Она знала, что есть что-то еще, чего я не знаю, но не знала — что, и разве это ее не мучило, не мешало еще что-то мне рассказать? Воображать — как умер Эдди, да кто там был, да как все было — это ведь похуже, чем знать один-единственный ряд фактов, одну-единственную версию, отменяющую все остальные, одну правду, которую она могла рассказать. Но все, кто там был, — кто умер, кто далеко, кто поневоле молчит. Откуда же мне узнать, что правда, что нет? Может, взять и спросить? Мама, что ты знала, когда выходила за папу? Что он знал? Когда вы друг другу сказали? Почему ты каждый раз затыкаешь мне рот? Розы — помнишь? Ты же знала, из-за чего; и он знал. Почему было мне не сказать? Любила бы по-настоящему — сказала бы. Неужели ты сама не понимаешь, что делаешь, вот и сейчас пересказываешь Берка от слова до слова, а ведь ничего мне не скажешь такого, до чего бы я сам не дошел, ничего про себя и про папу, про себя и Макилени, а все остальное — пожалуйста?

Она на меня смотрела. Я ей улыбался.

Глава шестая

Люди в маленьких городках
Июнь 1958 г

Как-то, сказал я маме, Кэти мне рассказала одну странную историю, которую слышала от мужа, от Макилени. Это было, когда Макилени летом устроился кондуктором на автобус, который курсировал между Донеголом и Дерри по Инишховенской дороге — Дерри, Бернфут, Фейан, Банкрана, Малин, Карндона, Глинли, Мовилл, Дерри — с массой промежуточных остановок — у того дома, у того поворота, у той вешки. Она не знает эту историю? Не помнит?

— Я помню мораль истории, — сказала она. — Жаль, он сам ее не запомнил.

Я ей заново все рассказал, следя за ее лицом. Она тихо сидела, не вмешивалась.

Один пассажир Макилени всегда, каждую среду садился в Малине, городке на самом краю полуострова Инишховен. Звали его Шон. Он садился в автобус всегда с коричневым потертым портфелем в огромной лапище. И держал этот портфель

на коленях всю дорогу туда и обратно. В портфеле не было ничего — только один детский носочек. Макилени сам себе кивал, довольный, когда объявлял это, такая уж у него манера была, Кэти сказала, а потом осторожненько подденет прядь свою черную, она всегда падала на лицо, когда он кивал, и на место отправит. Ах, какие у него были волосы, черная густая копна! А с Шоном, значит, такие дела. Ничегошеньки. Один-единственный детский носочек. Когда у Макилени спрашивали, откуда он знает, он говорил, что Шон сам как-то открыл портфель, показал ему носочек и сказал: "Глянь. Вот найду ему пару — и больше не буду ездить".

Короче, оказывается, этот Шон потерял ребеночка — девочку, несколько лет назад потерял. Она умерла в больнице в Дерри. Днем положили ее, а к чаю уже умерла. Шон вечером собрал вещи, а одного носочка недосчитался. И с тех пор все искал. Каждый день заявлялся в больницу, сидел в приемном покое, и сестры к нему выходили, говорили — так, мол, и так, обыскались, не можем найти. Подлаживались. Сказать, что нашли, — нельзя, они, во-первых, не видали того, который в портфеле, а второе — он бы все равно сказал: нет, не тот, какой ему ни подсунь. Таких много

людей, Макилени говорил. Поглядела бы ты, что у них за багаж — глазам бы своим не поверила. Провинциалы — странный народ. Все принимают как личное — аварии, стихийные бедствия. Всегда виноватого найдут, где-то, кого-то, часто сами себя обвиняют. Шон из Малина втемяшил себе в голову, что его дочка не попадет в рай, покуда он, Шон, не соберет все ее пожитки. Себя, что ли, винил в ее смерти. Тут Макилени спрашивали, а какого был цвета носочек. Желтый, с красной каемочкой. Вот ведь какую горькую муку сочинил для своего ребеночка этот Шон! Хуже не выдумаешь, говорил Макилени, — толком не умереть, застрять между этим светом и тем. Воздух Донегола, как больше нигде в Ирландии, он считал, кишит такими людьми из-за нашей дурной истории. Возьми лорда Литрима из Гленвигской долины. Посгонял, сволочь, с долины коренных жителей, за что и схлопотал пулю. Вот уж кому нет упокоенья. Каждый божий вечер он скачет по этой самой дороге, едва спустится сумрак, скачет к той изгороди, возле которой его застрелили, черным силуэтом на черном коне, в плаще и в широкой шляпе. Конь бесшумен. Скачет, пока не приблизится к тому месту, и тогда на секунду-другую ты услышишь, как он дробь

отбивает копытом. Но чуть ты это услышишь — конь исчезнет; а глянешь опять на дорогу — и вот он снова, совершенно бесшумный, скользит в темноту. И будет лорд Литрим и ему подобные до самого Судного дня — ни живые, ни мертвые, летучие тени.

Я представил себе, как Макилени стоит у двери в заднем конце автобуса, автобус одолевает дорогу за Мовилом, и под Зеленым Замком, Красным Замком назад убегает залив, а дальше — тихое приволье Кулмора, где папа тогда на лодке переправлял нас с Лайемом через реку. Мама сказала — он пел, она помнит, эмигрантскую песню про Кризлаф, городишко, которого я никогда не видал, прижатый к северному берегу Донегола, и оттуда дорога ведет к Ранафасту и Лафануру, где говорят по-ирландски, я там хотел побывать, научиться толком говорить на языке, который я корежил перед папой и мамой.

И какая же мораль? — спросил я.

А-а, она ответила, такая мораль, что люди в маленьких городках делают большие ошибки. Не больше, чем делают другие люди. Просто в маленьких городках места нет для больших ошибок. Она улыбнулась насмешливо.

Теперь-то он сам убедился, — она сказала. —

Мы все убедились.

Мама и Полоумный Джо
Октябрь 1958 г

Джо выпустили из психушки, и он повадился к маме. Папа, когда приходил с работы, тихонько ворчал, заставая Джо, болтающего, неизменного, с ужасным, нестареющим лицом. Мама теперь была единственная, с кем Джо мог отвести душу. И о чем можно с ним разговаривать? — громко взывал к нам папа. Как можно терпеть этот слюнявый бред? При папе Джо не засиживался. Вставал, нахлобучивал шляпу, снова сдергивал, чтоб раскланяться с мамой, объявлял: "Темпус фугает[17], дорогая. Я улетучиваюсь".

Но когда я приходил из школы, он преспокойно сидел на диване, разговаривал сам с собой, вскакивал, жестикулировал, принимал позы, а мама, откинувшись в кресле, внимала этой многоголосой драме, скроенной из выдумок и воспоминаний о сумасшедшем доме. Мы — двоетрое — закинув ранцы под стол, разинув рты, наблюдали пируэты Джо.

---

[17] notes: 17
Обыгрывается латинское выражение "Tempas fugit" ("Время летит").

Особенно часто он вспоминал, как его мучили санитары, били, совали в ледяную ванну, если им не угодить. О, это порождение его злосчастья, вскрикивал он, несчастный плод брака здравости и безумия. Сознание собственного безумия, повенчанное с сознанием здравости! Убежденье в своей безобидности, обрученное с пагубным чувством, что ты толкаешь на обиды других! А еще думают, будто он не женат! Женат, да так еще бедственно, как никто! У других, кричал он, есть то преимущество, что любая чета может покончить со своим состоянием. Верно ведь? Когда он кой о чем кой-кому намекнул, говорил он маме, намекнул сами знаете кому насчет сами знаете кого, — смотрите, какой беды он хлебнул, зато из какой беды вытащил и себя и ее, ну и разве он неправильно поступил? Неправильно? Так как же, миссис? Вовсе он не сумасшедший.

Тут он всхлипывал, и мама вставала, говорила, что теперь зато все хорошо, он оттуда вышел и больше не вернется, с этим покончено. Но Джо тряс головой и говорил: нет-нет, родственники снова его упрячут, его невозможно вынести, с ним слишком трудно жить, но почему, почему, за что? Что он такого сделал?

Скоро он опять улыбался, кивал нам, вдруг

обнаружив в комнате. Я его сам жалел, конечно, но ее это участие меня злило. Почему бы ей не проявлять такой же интерес к нам? К папе?

Однажды, когда папа пришел и мыл руки над раковиной, Джо вскочил, нахлобучил, сдернул, нахлобучил шляпу и сказал — при нас:

— А все равно, все равно я им не выдал вашу историю. Семейная тайна — это семейная тайна. Они, конечно, могли сами сюда прийти, на него наклепать.

Шорох воды осекся. Мама приложила палец к губам:

— Ну Джо!

— Клянусь, миссис. Мне можно доверить жемчужину короны. Зачем же тайны выдавать, да? Что это будет за тайна, если все ее знают?

Папа вошел, вытирая полотенцем руки до плеч, с вопросительным выражением на лице. Пятясь и чуть не пополам перегибаясь, Джо скрылся за дверью.

— О чем это он? — спросил папа.

Мама объяснять не стала. Так. Обычный бред. Джо всегда ухудшается, когда его выпускают из больницы. Может, это особенный наклон головы, когда она отвечала папе, может, все, что молол Джо, сошлось наконец — но вдруг я понял.

Ах ты господи. Теперь я понял. Вот и все, и какая тоска. Твоя последняя тайна в руках у Джо, мама. В непослушных руках у Джо, то запираемая в психушку Транши, то выпускаемая оттуда.

Мама
Ноябрь 1958 г

Мама — как знала, чего я понабрался от Джо, — злилась на меня. Против меня велась позиционная война. Нет, уголь притащит Джерард. Нет, зачем, Эймон прекрасно сходит за мясом. Нет, чашку чая ей приготовит Дейрдре. И почему это мне приспичило сегодня в кино, да у нее и трех пенсов на это нету. А главное — к Кэти идти с порученьем мне совершенно не надо; без меня есть кому сходить; Кэти сама говорила, Лайем по этой части куда бойчей. А мне лучше сесть за уроки, я последнее время все запустил. Аттестат на носу, и она ждет от меня "отлично" по всем предметам. Их десять, да? Ирландский, английский, история, французский, греческий, латынь, география, алгебра, геометрия, искусство. Она загибала пальцы. А еще ведь Закон Божий. Литургика, догматика, Библия. Это тоже. Возле каждой науки — галочка. Суровое лицо.

— Ладно, — сказал я. — Десять так десять.

Я получил девять "отлично", но по искусству "удовлетворительно", и она спросила, где же наш уговор. Я сказал, что его нарушил. Я шутил. Она — нет.

— Да, ты его нарушил. Нарушил.

Я вполне прилично прошел тест по Закону Божьему, но опять же ей не угодил.

Мог бы первым быть во всей Ирландии, если бы постарался!

Всю осень она ко мне цеплялась. На Всех усопших мы входили в храм, выходили, читали положенные молитвы об упокоении одной души за другой. Когда были маленькие, мы верили, что зимняя падучая звезда — это промельк души на пути из пламени в райскую вечность. В том году мы, как всегда, особенно молились за Уну, потом за всех умерших родных — дедушек, бабушек, Эдди, Ину, — потом за все души в чистилище, ждущие окончательного искупления. Прочтем, что положено, и выходим, а потом снова входим, читаем. Она меня засекла, когда мы с Бренданом Мораном заболтались снаружи с двумя девочками. Дома, на ночь глядя, мне устроила выволочку: я вел себя неприлично на церковном дворе, она прямо краснела, ну не стыд, такого балбеса вырас-

тить, в самую святую ночь пристает к девчонкам! Ничего, теперь она долго меня не увидит вечером на улице.

Какого хрена, я подумал. Чего ей надо? На что нарывается? Я смолчал.

Папа заметно огорчался и недоумевал, но ни за что не стал бы с ней при нас объясняться. Ему было пятьдесят. Выглядел он старше. Когда показывал приемы бокса, как ногу ставить, как изгибать корпус, и складывал мне кулак, вжимая большой палец в ладонь, его рука вдруг мне показалась меньше, чем была на Новый год, когда он нас каждого оделял шиллингом и по очереди тряс наши руки под морозный праздничный трезвон.

Мама все больше от нас отдалялась, не давалась, ускользала, гладко-неуловимая из-за враждебности. Когда говорила — в глазах стоял гнев, умолкала — и его заступал голый страх. Я стащил для нее с цветочного лотка на Чемберленской золотистый ирис, вхожу на кухню, протягиваю ей, говорю:

— Ты не беспокойся. Я ни слова не скажу. Не беспокойся. Было и сплыло.

Она берет цветок — три головки, по три лепестка каждая.

— Гляди.

И обрывает лепестки по одному, роняет на пол.

— Любит — не любит.

Раз.

— Плюнет — поцелует.

Второй, кружа, падает на линолеум.

— К сердцу прижмет. К черту пошлет.

Холодно засмеялась, швырнула на пол остальное, сложила руки под грудью и, мыча без мелодии, стала раскачиваться взад-вперед. Волосы у нее на висках были теперь седые.

Я подобрал цветы, выкинул в бак во дворе. Она совсем меня оттолкнула. А как прижимала руку к груди в тот день, когда я загубил розы, какое у нее тогда было молодое лицо. Я заглянул в окно — все раскачивается взад-вперед, сердце рванулось, захотелось любить ее, как тогда. Но было только грустно, что уже я на это не способен; и грустно вдвойне, что и она не может меня любить, как тогда. Припустил дождь.

— Ты ей что-то сказал? Что случилось?

— Нет. Ничего я ей не сказал. — Знал бы он, до чего я правдиво ответил.

Он вздохнул.

— И чего она так к тебе придирается? Ладно, не горюй. Она сама не рада. Помоги ей, Господи.

Снова она стала ходить к этому лестничному

окну. Но не любила, когда кто-нибудь останавливался рядом поговорить. Особенно когда я. Стояла там со своими призраками. Мне по-новому открылась тягостная суть привидений. Я стал привидением сам. Все ее давило. Она скукожилась, вылиняла, на лице отпечатались и застыли два-три выраженья. И она все время молчала. Папа ее уговорил позвать доктора. "Нервный срыв", — констатировал тот и прописал успокоительное, которого она принимать не стала. Папе было сказано: "Этого шута больше ко мне не води".

Танцы
Декабрь 1958 г

Фирма под названием "Бирмингемские репродукторы" открыла фабрику на Блай-лейн, от нас всего ничего ходьбы. Туда наняли массу мужчин. Теперь они возвращались с работы в то же самое время, что и женщины с нескольких уцелевших швейных фабрик, и это было странно. Изменилась вся схема передвижений на местности. Ну, и многие покупали проигрыватели: с фабрики, без наценки. Улица стала шумной, летом особенно, когда музыка с ревом рвалась из открытых окон.

Мы тоже купили проигрыватель, и каждый вечер, придя с работы, папа крутил три одни и те же пластинки — оперные арии, в основном итальянские. Арии плыли из серо-зеленого ящика, а папа, блаженно закрыв глаза, откинувшись, наслаждался, голосом Джильи[18] особенно. Мама сидела вытянувшись, не слушала, кажется, но вдруг я ловил устремленный на папу грустный взгляд — так смотрят на бедного мальчика, не знающего, какие его стерегут беды. А я больше всего любил вот что: поет Бьёрлинг, Орфей, не утерпев, обернулся и потерял Эвридику — Che faro senza Euridice[19]. Черный диск разматывал сладкие тягучие чары. Я садился поближе к проигрывателю, напротив мамы, и звуки тогда будто шли из меня, и это я сам печалился, что ее потерял.

В связи с доступностью проигрывателей кого-то осенила идея музыкально-танцевальных вечеров в местном концертном зале в конце улицы Тирконелла. Раз в две недели, по вторникам, здесь

---

[18] notes: 18

Беньямино Джильи (1890–1957) — знаменитый итальянский тенор.

[19] notes: 19

"Потерял я Эвридику" — начало арии Орфея из оперы Глюка "Орфей и Эвридика". Юхан Юнатан Бьёрлинг (1911–1960) — знаменитый шведский тенор.

толпилась молодежь и люди постарше. Ежась под косыми взглядами, я сидел в темном уголке, побаиваясь, как бы кому из девочек, пусть даже моей сестре Эйлис, не стукнуло меня пригласить на танец. Только напрасно я беспокоился. Полоумный Джо, с тростью наперевес, устремлялся ко мне и устраивался рядышком. Его никто не приглашал. Но он являлся всегда и всюду: на свадьбы, поминки, дни рожденья, юбилеи и — танцы. Смотрел, как кружат пары на блистающем паркетном просторе, высвобожденном сдвинутыми по углам скамьями. Вставные зубы двигались взад-вперед, улыбка то сходила с лица и сияла отдельно, то водворялась на место. Сосущий звук конкурировал с шипеньем записи, с шарканьем. Знакомая девочка с Вязовой, проходя, улыбнулась мне. Я оскалился и, копируя Джо, посветил, посигналил ей этой его недоулыбкой в тусклом освещении зала. Она не поняла меня и ушла. Я, собственно, даже жалел, что не танцую, но не в одних танцах было дело. Ее же надо еще обнимать, с ней разговаривать, и все это на глазах у взрослых.

— Остерегайся женщин, вьюнош. Не давай им тебя охмурить своими улыбками.

Сейчас скажет — играй-ка лучше в футбол, подумал я, и меня стало мутить.

— Читай-ка лучше свои книги, — посоветовал он, хлопнув меня по голой коленке и чуть-чуть ее стиснув. Я весь втянулся внутрь — от него подальше.

— Проклятые исчадья этого своего проклятого рока!

— Почему проклятого?

— Уделать бы их всех. Рок — это и есть удел. И почему все так глупы? Твой рок — книги, вот что я понял, если, разумеется, ты способен оценить мои каламбуры, в чем, однако, я глубоко сомневаюсь. Вот надвигается еще один экземпляр. Ты не мог бы послать ее подальше? У меня к тебе есть разговор.

Но экземпляр и не думал к нам присоединяться. Прошел мимо, не глянув. Лайем танцевал. Раскидывал руки, прищелкивал пальцами. Зависть защемила меня, как капкан. Снова Джо легонько тронул меня за коленку. Зубы туда — зубы сюда. Всасывающий звук. Правая рука месит ручку трости, перпендикулярно воткнутой в пол. Левая висит неприкаянно.

— Сексуальное возбуждение. Вот о чем гремят эти барабаны. Тошно. Нет, запретить, запретить.

Я видел маму и Кэти с какими-то еще женщинами, они сидели у столика рядом с эстрадой,

откуда гремела музыка. Кэти утирала глаза, мама к ней наклонялась, похлопывала по голой руке, говорила что-то. И с чего Кэти так расчувствовалась? Папа сидел подальше на скамейке, очень прямой, одинокий, и по лицу блуждала улыбка. Мужчины его возраста в основном пили за столиком в углу. До меня доносилось: "Слушай, грю, да ты меня слушай..." — "А я, значит, поворачиваюсь и — ему: да ты-то, да в твоей-то семейке..." Джо прекратил всасывание зубов, повернул ко мне лицо — спокойное, безумное.

Вот тебе задачка. Есть такое место, где один человек умер, но остался жить привидением, а другой жил как привидение, но умер как человек, а третий мог умереть как человек, но сбежал и живет привидением. Где бы оно могло быть, это место?

Опять он положил руку мне на коленку. Я притворился, что не замечаю. Он стал месить мою ногу, как будто это ручка его трости. Я смотрел на его руку. В зале стоял невыносимый грохот. Опять зубы вылезли наружу, и он уставился мне в лицо.

— Где? Где?

— Не знаю. Скажите.

— Не знаешь? Сказать? Я тебе чего хочешь на-

плету. В Египте? В Бразилии? В Атлантическом океане? Там, не знаю где? В Библии? Ну же. Отгадывай, негодяй. Ты знаешь отлично — где.

Он с силой потер мне колено, но тут меня оторвали от стула и поставили на пол. Папа, держа меня за шиворот, бешено оглядывал Джо.

— Не сметь к нему прикасаться, ясно?

Джо с перепугу заслонился рукой и молчал. Сидел и другой рукой все тискал, тискал трость. На нас поглядывали. Папа меня увел, подталкивая под зад.

— Ты уж подальше от Джо. У него мозги не в порядке. Зачем с ним сидеть? Иди лучше потанцуй, побеседуй с ровесниками.

Подтолкнул меня, я пошел, и я видел, как отвернулись и смотрят в пол мама с Кэти, я слышал, как папа опять садится на ту же скамейку, а Джо так и сидит: заслонил лицо рукой и смотрит своими невозможными глазами. Незнакомая девочка тронула меня за плечо.

— Потанцуем?

Я благодарно к ней шагнул, я готов был ее расцеловать.

Назавтра мама тоже меня пилила, велела держаться подальше от Джо. Я с ним столько времени провожу, а он ненормальный. Не разрешай

ему себя трогать. Он извращенец.

— Голубой, что ли? — спросил я.

Слово ее сперва озадачило. Потом она кивнула.

— Господи, прости меня, Господи, прости меня, что я наделала.

Она плакала.

Подарок на день рожденья
Май 1959 г

Не на том ее заклинило, что случилось. Заклинило на том, что я знаю. Стыд. Стыд ее парализовал. Ей стыдно было из-за того, что так поступила с папой. Я знаю, ей было стыдно. Каждый раз при виде меня это в ней поднималось, хоть я старался ей показать, что никому не скажу и что я даже ее не виню. Просто я не совсем ее понимаю, потому что знаю не все. И подмывало спросить, любила ли она когда-нибудь Макилени, то есть по-настоящему? Но было страшно: а вдруг она скажет, что до сих пор его любит, и все время любила, и тогда, когда с ним встречалась, и когда он ее бросил и женился на Кэти, и когда она узнала от Джо, что он стукач, и предупредила его, и он бежал и скрылся в Чикаго, и Кэти страдала, — все время, все время любила, и когда через четыре года

встретила папу, и потом узнала, что Эдди значил для него и его родных. Я не хотел слышать, что она его любила все эти годы или когда-нибудь, долго, хоть сам об этом догадывался. Но чего-то ведь она так до конца и не знала, когда стояла с папой у алтаря? Что Эдди казнили по приказу ее отца? Только этого не знала? А он? Он-то что знал? Что его брат стукач и за это его казнили? Но как же все эти годы, ведь поженились они в тридцать третьем? Все эти истории, выдумки, будто бы Эдди бежал и скрылся. Неужели он не заметил, как сплелись истории про Эдди и про Макилени? Как мог не уловить связи, как не увидел, что одна — отпечаток другой? Или он все знал и держал при себе, не выдавал своих подозрений, потому что вслух сказать — это все погубить, разрушить семью?

Умер сержант Берк, и священники-сыновья отслужили в соборе заупокойную мессу. Присутствовал епископ.

— Как он только может, — шипела мама.

Она не желала слушать, когда ей объясняли, что священники давно спелись с полицией. Не надо ей этих теорий. Тут просто личное. Личные отношения. Я ее понимал. Как быть, если все, что для нее драгоценно, сплелось с предательством.

Как-то я спросил, чего бы ей хотелось на день рожденья.

— В этот день, — она ответила, — один-единственный день, семнадцатого мая, только в этот день — все забыть. Или чтобы хоть не напоминали. Можешь ты мне это обещать?

Я не ответил.

— Что ты не уедешь? — она спрашивала. — Я бы хоть присмотрела как следует за отцом, без твоего подгляда.

Я сказал, что уеду. После университета уеду. Вот ей и будет подарок на день рожденья. Она кивнула. Как только она протянула ко мне руку, я ушел.

Мой отец
Июнь 1961 г

Боясь обидеть маму, я несколько предавал папу. Остерегаясь, как бы меня вдруг не прорвало, как бы все ему не выложить, я от него отдалялся, видел, что он это замечает, и ничего не мог поделать. В университет, в Белфаст, я уехал, радостно скинув гнет и грустя, что сам все испортил, создал дистанцию между собой и родителями, обеспечивавшую единственный для меня способ их

любить. Я отмечал все годовщины: всех смертей, предательств — за них обоих, про себя, год за годом, пока, к своему удивлению и удовольствию, вдруг не обнаружил, что все они спутались, стерлись, так что временами я готов был даже принимать их за собственный вымысел.

Странная это, в общем, штука — наваждения. Все стремится к прояснению, даже туманность. Вот и наша семейная история. Она ко мне поступала клочками, от людей, редко вполне понимавших то, что они рассказывали. Многое из того, что я помню, я не помню на самом деле. Про какие-то вещи мне рассказали, а я решил, что их помню, и захотелось вкопаться поглубже, тем более что другим так хотелось про них забыть. Кто-то мне рассказал, как папу, когда похоронили его родителей, ночью нашли в сарае у дома на Болотной, где они тогда жили; он лежал на мешках с углем и безудержно рыдал. Я представил, увидел, поверил, но потом на него смотрел и думал: нет, неужели это был папа?

Папа. Он ведь хотел учиться. Приехав из Белфаста ночью после последнего экзамена, я вошел на кухню, забитую народом и говором. Я немножко выпил, был чуть под градусом, и когда входил и увидел выжидательно вытянутые лица, из-

готовился уже изобразить отчаяние — ах, мол, провалился, — но тут взгляд поймал папу: он, за дверью, поднимался с кресла, с серым лицом, на негнущихся ногах. Снова рушились балки, черная туча над Атлантикой резала свет на лучи, а я на него смотрел, и он распрямлялся. Я поскорей сказал: "Сдал. Первым номером". Огромная ручища сжала и отпустила мое плечо, он улыбнулся.

— Первый. — Он сел. — Первый, — уже себе под нос, опустив голову, а вокруг снова говорили, и мама ему кивнула, сказала:

— Да уж. С шести часов этой новости ждем. Ты почему задержался? Второй час ночи.

— Выпил в Белфасте пару рюмочек.

— Пару рюмочек! — общий смех.

— Я бы и сам не прочь, если б не с утра на работу. — Он показался из-за двери. — Зато крепко сегодня посплю.

И пошел наверх. Спиртного он в рот не брал. Сто раз я потом себе представлял его бодрствование за дверью гудящей комнаты — так же как составлял для себя его жизнь из обрывков, из рассказов о смерти родителей, исчезновении старшего брата, из его незнающего, такого для меня дорогого молчания. Ох, папа.

Немолодой человек за дверью, мальчик, ры-

дающий на мешках с углем, пыль под ногами на той дороге, загубленные розы, признание в церкви, мертвый, поруганный брат — и это все? За всю жизнь? Какая жгла его боль, какая тоска смирила? Что он знал? И не знал?

Помню, как-то вечером, я тогда еще ни о чем не подозревал, мы все вместе сидели и слушали по радио борьбу между английским чемпионом-тяжеловесом Брюсом Вудкоком и каким-то чешским шахтером Йозефом Бакши. Папа, разумеется, кое-что смыслил в боксе и не терял к нему интереса, хотя и говорил, что его от спорта тошнит. Драка была ужасная. Шахтер наскакивал на Вудкока, сыпал, сыпал удары, но все двенадцать раундов тот удерживался на ногах. Комментатор вопил как резаный; рев толпы грозил прорвать приемник Папа слушал, как под дулом пистолета.

— Прекратить эту драку, — говорил он приемнику. — Прекратить.

Вдруг он вскочил, выключил радио, зажег сигарету и в наступившей тишине курил, пока беспризорный столбик пепла не осыпался, разбившись, на костяшки пальцев. И тогда он включил снова. Шел последний раунд. Чех проволок Вудкока по всему рингу. Борьба кончилась.

— Удал, да глуп, — сказал папа и вышел, сперва во двор и стал его подметать, потом в сарай и там колол сланцевые глыбы на черные ромбы, потом выволакивал деревянные колоды, разбивал на сучковатую щепу, и сарай дрожал от ударов. Я сунулся было смотреть, он, не оборачиваясь, на меня шикнул. Мама всех погнала спать. Она приложила палец к губам, и я понял, что горе его я не придумал, только охватить не могу. Всю ночь я лежал без сна и в шесть утра услышал, как он выходит. Я прокрался к лестничному окну и смотрел, и он шел задами к Новой дороге и в руке держал сверток с едой. Но зря я подсматривал. Ничего я не мог высмотреть, и весь день в школе я маялся и дважды уснул на уроке.

— Шш, — сказал брат Коллинз, — давайте потише. А то еще разбудим его. Может, споем колыбельную? Раз, два, три.

Его лицо, когда я открыл глаза, было в миллиметре от меня, но я видел только папу. И удары, когда посыпались, отдавались в ночном сарае, и было почти совсем не больно.

После

Июль 1971 г

Ни единой душе, даже Лайему, я ни звука не сказал и надеялся, что мама оценит мою верность нашему пакту. Но ничего она не замечала. То, что мы знали оба, стояло между нами. Мне было жалко и ее и его. Себя мне тоже было жалко. Она от меня уходила. Эти ее сжатые губы, эта суровость. С годами она все больше делалась похожа на дедушку с его римской мраморностью. Как бы папиными глазами я следил за скорбными и праздничными годовщинами, которые она, по-моему, могла помнить и отмечать. Начало и конец отношений с Макилени, смерть Эдди, день рожденья Мейв, бегство Макилени, день своей свадьбы, смерть Уны, смерть матери, отца, наши дни рождения, свадьбу Мейв. А у папы, не ведающего про Макилени, кроме кой-каких из этих дат, были свои: та вражда, смерть Ины, — и эти ряды были тесней сплетены, чем он думал, тесней, чем хотелось бы маме. А может, ничего они такого не отмечали, может, им, ей особенно, оставалось одно: забыть, забыть. Кэти запнулась во времени, законсервировалась; ей уже ничего на свете не надо было доказывать; она экономила, как могла, и радовалась появлению внуков — четверых, — и

все больше смягчалась к Марку и к ним, и в конце концов они к ней изредка стали наведываться на правах расширенной семьи, пусть экзотической, зато вполне достойной снисхожденья.

Но неужели так ничего и не было сказано потом, за все эти годы, пока постепенно менялся брак, пока она носила в себе свои тайны, а он догадывался и сам считал, что свою-то единственную якобы тайну стряхнул с себя, открыв ее нам? Бедный папа. Они оба старели. Ее, кажется, меньше мучили призраки; он тревожился, но тревога была рассеянная, не собранная в фокус. Что-то, он чуял, от него ускользало, но настоящей тяги — поймать, ухватить — не было.

Может, в этом была его мудрость, брак только и держался на том, что он уберегся и годами сочившийся, как из капсулы замедленного действия, яд так и не принял в смертельной дозе. Я бы скорей умер, чем хоть словом проговориться ему, хоть чем-то выдать ей, что знаю про ту большую ошибку, которая заполонила наш маленький городок. Джо, конечно, не в ИРА тогда пошел со своей информацией о Макилени. Он и не знал, куда идти. Он пошел к маме. Я это знаю точно. Как будто она сама мне сказала. И это она повела Джо к дедушке и велела пересказать, что он видел тогда

ночью восьмого декабря в двадцать шестом, как Макилени выходил на рассвете из полицейской машины Берка. И тогда-то дедушка понял, как он ошибся насчет Эдди. Но даже тогда мама не все узнала про смерть Эдди — узнала только, что его казнили по ошибке. Но что по приказу ее отца! Этого она, конечно, не знала, не то зачем бы она стала так убиваться в тот вечер, когда я дежурил при умирающем дедушке, а она спустилась и все повторяла — Эдди, Эдди. Но ей хватало и того, что она знала. Макилени, муж сестры, человек, которого она сама раньше любила, может, всегда любила, который ее бросил, — полицейский доносчик. И она сама на него донесла. Но чем обрекать его на смерть — это она, она сама пошла к нему и сказала, что его накрыли и надо сматывать удочки. А потом она вышла за папу и навсегда заперлась в себе, навсегда одержимая призраками.

Маленькая фигурка на загибе лестницы. Уехав из дому, я так ее и запомнил. Призраки, призраки. Все прояснялось, все становилось не важно. Вот захотел узнать, что ее мучит, а сделался мучением сам. Было время, она раз в году делала одну ставку на ежегодных скачках на "Эйнтри". Эх, была не была — так она выражалась. И каждый

раз ставила на лошадь, которой выпадал тринадцатый номер. Как-то я за нее поставил два шиллинга, и она выиграла. Я помчался к букмекерам, принес ей деньги. Она их взяла, крепко обняла меня, сказала:

— Повезло мне с тобой.

Как давно это было.

Я принял почти как милость, когда с мамой случился удар и у нее отнялся язык. Это было как раз в шестьдесят восьмом, в самом начале волнений. Я смотрел на нее, опечатанную немотой, и теперь она мне слегка улыбалась и тихонько, почти незаметно, покачивала головой. Будто все заодно опечатывала, закрывала. Наконец нам можно было снова любить друг друга. Повезло мне с тобой.

Нас травили газами, нас обстреливала армия, мы видели или слышали взрывы, артиллерийский огонь, совсем рядом путались звуки — звон битых стекол, разрывы гранат, разобщенные крики, — и все сливалось в ровный рев и опять рассыпалось дробью дубинок по щитам восставших. Телевизор теперь вообще не выключали, и она, не видя, смотрела на экран. Ее молили не стоять у окна, но нет, она стояла, смотрела, как стреляют — и солдаты, и снайперы ИРА. Никак

было не отвадить ее от этого дежурства на лестнице, этого патрулирования чердака и кухни, где старинный очаг выложили плиткой и огонь горел теперь голый, пошлый.

Иногда они с папой, держась за руки, вместе смотрели телевизор, слушали уличный шум — крики, шальные выстрелы, а то грохот разорвавшейся в городе бомбы. Они остались одни. Все разъехались, обзавелись семьями, правда, мы их часто навещали. Я вот думал — что такое был для них этот телевизор, эти звуки снаружи. Дважды в доме шуровали английские солдаты; Эймона арестовали и отпустили; Джерарда избили полицейской дубинкой. И все время папа молчал — как мама. В том, как она гладила его руку, косо ему улыбалась, подставляла голову ласковым пальцам, мне виделось, что она в своем молчании просила, чтоб он ее понял. Мне открывалось то, чего я в детстве не понимал: была промеж них любовь.

И вдруг папу свалил сердечный приступ. Он потерял свою пенсию, года недотянул до стажа. И они сидели оба, беспомощные, подавленные уличным грохотом и пропагандой с экрана.

Я приехал на выходные, в пятницу вечером. Неделька была жуткая. В среду улицу прочесывали

стрелки ИРА, и застрявший у нас на крыльце английский солдат был убит наповал снайперской пулей. Папа услышал стук, выбрался из кресла, приоткрыл дверь. И тут же снова захлопнул, и оба услышали, как ломятся в дверь, орут и стреляют другие солдаты. Когда я приехал, папа еще не пришел в себя; потом, часа через два, в дверь постучали. Я открыл. Человек на пороге помялся, снял шапку, спросил, с кем бы можно поговорить насчет солдата, которого тут в среду убили. Я рта не успел раскрыть, а он уже пояснял, что он не из полиции, не из разведки. Он тому солдату отец. Я пригласил его войти. Он представился родителям, сказал, что сам-то он из Йоркшира, шахтер, а вот сына его Джорджа, значит, убили у нас на крыльце. Может, видел кто, как дело было. Нависло молчание. Родители на него смотрели. Он знает, конечно, сказал шахтер, как народ тут относится к английским солдатам. Так ведь сын же. Папа — в те дни он мучился одышкой — предложил ему чашечку чая. Я подал чай. Мама смотрела на англичанина открытым взглядом, который дается обреченным на немоту.

Да, папа сказал англичанину, сын его умер мгновенно. Сам он даже выстрела не слыхал, сразу стук. Открывает дверь. Мальчик лежит,

спокойный такой. Но мертвый он был, это точно, мертвый.

— Не мучился, нет, ничего не сказал?

Нет. Еще немного поговорили, но что тут скажешь. Англичанин всем пожал руки, мы ему выразили сочувствие, он кивнул, ушел.

— Вот бедолага, — сказал папа. — Жалко мне его. Хотя сын его и был из этих. Странные на свете дела.

А вскоре второй удар доконал папу во сне. Мама сидела у гроба с сухими глазами, трогала его уложенные руки, лоб; и ежилась, будто от тела шел холод. Он умер накануне введения комендантского часа. Запрещалось всякое передвиженье по улицам с девяти вечера до девяти утра и сносили баррикады. Ночью я сперва услышал бронетехнику, а уж потом увидел из верхнего окна. Первыми наползали бульдозеры, поднимали, опускали в фонарном свете жуткие челюсти, валили, сносили на сторону баррикады. Потом бронированные машины производили разведку, останавливались, обрыскивали развалины, щупали прожекторами задворки и закоулки. А следом, сверкая спереди желто-белыми фарами, по бокам мерцая зарешеченными красными фонарями, грохотали бронированные грузовики,

и мелькало на поворотах тусклое хаки солдат, уставившихся прямо перед собой, друг другу в затылок.

Я так и не уснул до рассвета, а на рассвете стук копыт снова погнал меня к окну. Было как во сне: по разрухе на соловой лошадке скакал цыганенок. Без седла, легко держась за гриву, проскакал из виду туда, куда за несколько часов перед этим двинулась армия, — хотя был еще в силе комендантский час. Цоканье долго летало над притихшими улицами.

Я пошел на кухню заваривать чай. Спускаясь, услышал вздох, оглянулся на то окно: призрака нет. Это мама вздыхает во сне, вздыхает, наверно, по папе. Это будет последний сон мамы о прошлом. В девять истечет комендантский час. Вечером мы отнесем папу в тот собор в том окне, и, молча поднимаясь к себе, она остановится на загибе лестницы и станет смотреть на шпиль, под которым он так невинно будет лежать перед сумрачным алтарем всю долгую ночь напролет.